ИОСИФ БРОДСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
и
ПОЭМЫ

INTER-LANGUAGE LITERARY ASSOCIATES

1 9 6 5

Многоуважаемый
Отец Александр Шор
и Дмитрий Вагиевич Шамбу
от редактора Т.С. и издателя Б.Ф.
с Дружеским Привет

Борис Ф[illegible]

Март 965

ИОСИФ БРОДСКИЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ
и
ПОЭМЫ

INTER-LANGUAGE LITERARY ASSOCIATES

1 9 6 5

COPYRIGHT 1965
by
Inter-Language Literary Associates
Washington, D.C.-New York

All rights reserved

Publisher: Inter-Language Literary Associates
U.S.A.

Manufactured in the United States of America
by Rausen Language Division
150 Varick Street, New York, N. Y. 10013
65

ПОЭТ-«ТУНЕЯДЕЦ» — ИОСИФ БРОДСКИЙ

Судья Савельева: Где вы работали?
Бродский: На производстве, в геологических экспедициях...
Судья: Как долго вы работали на производстве?
Бродский: Год.
Судья: В каком качестве?
Бродский: Как фрезеровщик.
Судья: А какая вообще ваша профессия?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто установил, что вы поэт? Кто вас зачислил в ряды поэтов?
Бродский: Никто. А кто зачислил меня в ряды людей?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Быть поэтом. Вы не пробовали посещать университет, где дают образование... где учат...
Бродский: Я не думал... Я не думал, что этого можно достичь образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, что это... от Бога...

Этот примечательный диалог произошел в заседании районного суда в Ленинграде 18 февраля 1964 г. между судь-

ей, тов. Савельевой, и обвиняемым, молодым поэтом Иосифом Бродским.

Бродский обвинялся в «тунеядстве», и притом не столько даже в нежелании работать, сколько в неумении... достаточно зарабатывать и тем самым невыполнении «важнейшей конституционной обязанности честно трудиться на благо Родины и обеспечение личного благосостояния» — так буквально говорилось в приговоре суда по делу Бродского.*

Дело Бродского возникло в результате статьи, напечатанной в газете «Вечерний Ленинград» от 29 ноября 1963 г. под заглавием «Окололитературный трутень». Статья была подписана тремя фамилиями: Лернер, Медведев и Ионин.

---

* В «большой» советской печати, насколько нам известно, ни о суде над Бродским, ни о приговоре по его делу ничего не было напечатано. Заметки об этом появились только в газетах «Вечерний Ленинград» и «Смена» (см. об этом ниже). Цитируемая нами фраза заимствована из «справки» по делу Бродского, составленной группой ленинградских литераторов в защиту его и направленной ими в ЦК КПСС и в правление Союза Советских Писателей. Справка эта была напечатана в газете «Русская Мысль» (Париж) от 5 мая 1964 г. Отчет о деле Бродского, составленный Ф. Вигдоровой, известной как педагог и писательница для детей, и основанный на записях, сделанных в заседании суда и проверенных некоторыми другими из присутствовавших, проник позднее на Запад и был впервые напечатан в немецкой еженедельной газете «Die Zeit» в №№ от 26 июня и 3 июля. В несколько сокращенной версии и в явном переводе с немецкого он был воспроизведен по-русски в той же «Русской Мысли» (в №№ от 11 и 13 августа). Несколько более полная версия того же отчета появилась в американском еженедельном журнале «The New Leader» в № от 31 августа (возможно, что эта версия восходит к другому русскому оригиналу). Приведенный нами в начале диалог между судьей и Бродским основан на сличении немецкого и английского текстов; подлинный русский текст не был нам доступен. Настоящая статья была уже набрана, когда автору ее стало известно, что в нью-йоркском альманахе «Воздушные Пути» (IV) будет напечатан полный отчет о процессе Бродского, но будет ли он напечатан по подлинному русскому тексту, остается неизвестным.

Но главным застрельщиком в деле Бродского оказался первый из вышеназванных. Бывший капитан госбезопасности, он по увольнении стал активно работать в «народной дружине». Против Бродского им был выдвинут ряд клеветнических обвинений. Согласно уже упомянутой «справке», в статье Лернера и Ко. Бродскому «приписывались стихи, которых он никогда не писал (о чем тогда же заявил... настоящий автор приведенных в фельетоне строк), две цитаты из собственных стихов Бродского были искажены до неузнаваемости... даже возраст его был увеличен на три года»; он изображался распущенным, циничным тунеядцем, тогда как в действительности он «в отличие от многих своих сверстников, не пьет, не курит, не терпит сквернословия, очень умерен в быту и целиком поглощен своими литературными занятиями». В справке указывалось, что статья Лернера и Ко. вызвала возмущение у всех знавших Бродского. В редакцию газеты посыпались письма в защиту Бродского. Но Лернер не только запугивал авторов писем, донося на них, как на защитников «политического преступника», но и во-первых сумел убедить в своей полезности некоторых работников Дзержинского райкома партии и сотрудников Ленинградского КГБ, а во-вторых, внушить секретарю Ленинградского отделения Союза Советских Писателей, известному поэту Александру Прокофьеву, мысль о необходимости добиться выселения Бродского из Ленинграда. В справке рассказывалось, что 13 декабря 1963 г. Лернер доложил свои заключения о Бродском в заседании секретариата и партбюро Ленинградского отделения Союза Писателей. На этом заседании, на которое не был приглашен ни один писатель из лично знавших Бродского или знакомых с его литературной работой, было принято решение о предании Бродского суду как тунеядца. Пособником Лернера в этом деле стал секретарь комиссии по работе с молодыми Е. Воеводин. Он составил лживую справку, якобы исходившую

от комиссии, хотя даже председатель последней, Д. Гранин, не был о ней осведомлен. В этой справке Воеводин осыпал Бродского грубой бранью, утверждая, что он «не имеет никакого отношения к литературе», пишет «антисоветские и порнографические стишки» и т. п.

13 февраля 1964 г. Бродский, незадолго до того вернувшийся из Москвы, где он находился на излечении в лечебнице им. Кащенко (он с детства страдает хроническим нервным заболеванием, которое обострилось под влиянием начатой Лернером травли), был арестован на улице в Ленинграде, как «тунеядец, уклоняющийся от суда», хотя никакого вызова в суд он до этого не получал.

Первое слушание дела состоялось 18 февраля. После короткого допроса самого Бродского (часть которого приведена нами выше) дальнейшее слушание было отложено по просьбе защитника (З. Н. Топоровой), ходатайствовавшего о том, чтобы Бродский был подвергнут врачебному осмотру на предмет выяснения, не препятствует ли состояние его здоровья постоянной работе. Суд постановил послать Бродского на судебно-психиатрическое исследование, чтобы выяснить, не страдает ли он какой-либо душевной болезнью, не позволяющей присудить его к ссылке на принудительные работы. В просьбе защитника об освобождении Бродского из заключения впредь до возобновления слушания дела было отказано.

В результате медицинского освидетельствования было признано, что, несмотря на наличие некоторых признаков неуравновешенности, Бродский трудоспособен и поэтому нет препятствий к применению к нему мер наказания, предусматриваемых указом 4 мая 1961 г. о тунеядцах. В заседании суда 13 марта выступило несколько свидетелей как обвинения, так и защиты. Свидетели обвинения говорили о «совращении» Бродским молодежи, о его «антисоветских» и «порнографических» стихах. Свидетелями защиты высту-

пали писатели, лично знавшие Бродского по работе с молодыми при Союзе Советских Писателей, напр., Н. Грудинина, а также ученые-литературоведы, знакомые с работой Бродского как переводчика. В их числе были преподаватели Института имени Герцена Е. Г. Эткинд, автор труда о французской стилистике и книги «Перевод и поэзия», и проф. В. Адмони, автор большой работы об Ибсене. Оба они с большой похвалой отзывались о переводах Бродского. В ответах писателей и ученых было подчеркнуто, что, хотя Бродский оставил школу в 15 лет, он самостоятельно изучил языки польский и английский, а также переводил с других языков (например, сербского и испанского), пользуясь подстрочными переводами (ссылка на подстрочные переводы вызвала насмешливые замечания и вопросы одного из заседателей суда). К делу были приобщены телеграммы таких специалистов по переводу как К. И. Чуковский и скончавшийся с тех пор С. И. Маршак, которые пристально следили за его литературной работой и высоко ценили его переводы, и телеграмма Д. И. Шостаковича, но ни одна из этих телеграмм не была оглашена на суде. Заграницей стало также известно о высоком мнении о Бродском, как поэте, А. А. Ахматовой.

Как указывается в писательской справке по делу Бродского, общественный обвинитель (прокурор) Ф. Сорокин «построил свою речь частью на цитатах из давних ребяческих дневников Бродского, не объяснив ни того, как они стали ему известны, ни почему какие бы то ни было цитаты из старых дневников могут подтвердить обвинение в ‘тунеядстве‘». При этом Сорокин грубо оскорблял не только обвиняемого, но и всех тех, кто выступал в его защиту, называя всех заступников Бродского «подонками», «навозными жуками», «мокрицами» и т. п. Эти эпитеты можно было отнести и на счет таких авторитетов, как Чуковский и Маршак. В писательской справке отмечается, что «так как ау-

дитория этого показательного суда воспринимала только явные, а не скрытые мотивы судебного разбирательства, то суд над Бродским был воспринят, как осуждение литературной профессии вообще». Когда слушание закончилось, в зале суда слышались среди публики такие возгласы как «Все писатели — тунеядцы!», «Всех бы их вон из Ленинграда!» и т. п. Односторонность обвинительной речи прокурора, недопустимость его выпадов против и самого обвиняемого и свидетелей защиты, привлечение не имеющего отношения к делу материала — всё это было отмечено в речи защитника.* Тем не менее суд не только признал Бродского виновным в «тунеядстве» и приговорил его к пяти годам принудительных работ, но и выразил в «частном определении» политическое порицание свидетелям защиты, в результате чего А. Прокофьев «начал официальную 'проработку' тт. Адмони, Грудининой, Эткинда, причем пытался использовать фальсифицированные записи их выступлений».

После процесса в газетах «Вечерний Ленинград» (14 марта) и «Смена» (15 марта) появились сообщения, в которых грубо поносились и свидетели защиты, и адвокат — факт (как говорится в справке) «едва ли не беспримерный в истории нашей печати, даже в 1937-38 гг. не шельмовали адвокатов, защищавших 'врагов народа'».

Бродского после суда содержали под стражей в милиции, а затем в Крестах до 22 марта, после чего он был «этапирован» в «вагонзаке» вместе с ворами и убийцами в Ар-

---

* В записи судебного разбирательства отсутствует подробное изложение речи защитника, так как к этому времени судьей было запрещено Ф. Вигдоровой продолжать вести свою запись. Краткое резюме речи защитника дано, однако, в наиболее пространном отчете о процессе, появившемся на Западе — в нью-йоркском журнале «Нью Лидер». В вопросах судьи свидетелям Эткинду и Адмони по поводу их имен и фамилий прозвучали явные антисемитские нотки, но было ли это отмечено защитником, мы не знаем.

хангельскую область (Коношский район), где его назначили возить навоз в местном совхозе.

Вскоре после опубликования в немецкой газете отчета о процессе Бродского из Москвы было получено в частном порядке известие о том, что Бродский освобожден. Известие это было напечатано в некоторых западных органах печати. Но довольно скоро известие это было изобличено как ложное. По некоторым сведениям, Бродскому разрешено было на короткое время вернуться в Ленинград — не то для свидания с родителями, не то для нового врачебного осмотра. Видимо, на этом основании распространился (или был сознательно распространен) слух об его освобождении. В начале октября известие об освобождении Бродского вновь обошло всю западную печать (очевидно, на основании официальной информации, полученной иностранными корреспондентами в Москве). В последних числах ноября стало известно, что и это сообщение было лишено основания; возможно, что оно было результатом нарочитой дезинформации. В тот момент, когда пишутся эти строки, «тунеядец» или «литературный трутень» Бродский всё еще находится в Архангельской ссылке, даже если он больше и не возит навоз и — по некоторым полученным сведениям — живет в более благоприятных внешних условиях.

* * *

Мы мало знаем об Иосифе Бродском. Он еще совсем молод: родился в 1940 году. Еврей. Жил в семье (на суде выяснилось, что свои заработки — и литературные, и другие — он отдавал семье). Бросил учиться в школе в 15 лет. Принадлежал к секции переводчиков Ленинградского отделения Союза Советских Писателей. Еще в 1958 г. хотел работать в группе молодых, которой руководила Н. Грудинина. Она тогда не приняла его, потому что слышала, что он «истеричный парень». На суде она заявила: «Это было ошибкой, и я очень о ней сожалею. Теперь я охотно приму

его в свою группу и буду работать с ним, если он хочет». Та же Грудинина сказала, что она считает Бродского, как поэта, очень талантливым, а как переводчика ставит его на голову выше многих профессиональных переводчиков. Такого же высокого мнения о Бродском, как о переводчике, Е. Г. Эткинд, в семинаре которого работал Бродский. В 1963 г. Бродский дал ряд переводов для сборника «Заря над Кубой», для антологии югославских поэтов, переводил стихи К. Галчинского, стихи испанских, английских и польских поэтов. О собственных стихах Бродского защитники его не говорили. Нам неизвестно, появлялись ли его оригинальные стихи в советской печати. На суде упоминались стихи его в «Костре» (журнал?) — может быть, в данном случае шла речь именно об оригинальных стихах. Несколько стихотворений Бродского появилось в третьем выпуске *подпольного* гектографированного журнала «Синтаксис», выходившего в Москве в 1958-1960 гг. Проникли стихи Бродского и заграницу, и кой-какие из них были напечатаны в газетах «Русская Мысль» и «Новое Русское Слово» и в журнале «Грани».

Печатаемые нами в настоящем томе стихотворения в большинстве во всяком случае написаны не позже 1962 г., т. е. когда Бродскому было не больше 22 лет. Эти стихи заимствованы нами из машинописи в 80 страниц большого формата, с пометой на заглавной странице «Ленинград 1962».* Возможно, что это был приготовленный к печати сборник. Из этого сборника нами отобраны не все стихотворения, но подавляющее большинство их. Сборник был получен заграницей одновременно со «справкой» о деле Бродского. С другой стороны, в наше издание включены более

---

* Два из вошедших в машинописный сборник стихотворений («Еврейское кладбище...» и «Мимо ристалищ, капищ...») написаны не позже 1960 г., так как они вошли в помеченный этим годом выпуск «Синтаксиса».

крупные вещи, не входившие в машинописный сборник, а именно «Большая элегия», «Исаак и Авраам» и «Шествие». Время написания первых двух вещей нам неизвестно, но весьма возможно, что они более поздние, написаны в 1963 г. В этих вещах «большой формы» особенно сказался, сдается нам, своеобразный талант Бродского.

Бродский не похож на других известных нам молодых советских поэтов — ни на тех, которые открыто печатаются т а м, ни на тех, произведения которых ходят по рукам и проникают заграницу (в таких изданиях как «Феникс» и «Синтаксис» или в отдельных рукописях). В стихах Бродского нет ничего ни от «эстрадности» и молодого задора и наскока Евтушенко, ни от нарочитых формальных поисков и «изысков» Вознесенского, как нет в них и ярко выраженной «антисоветскости», что бы ни говорили об этом прокурор Сорокин, заседатель Тяглый и свидетели обвинения. В огромном большинстве стихотворений и поэм Иосифа Бродского читатель не может не заметить и их «аполитичности», и их известной «старомодности». Но старомодность эта кажущаяся. Бродский не гоняется (особенно в стихотворениях, которые представляются нам более поздними) ни за корневыми рифмами, которыми щеголяют и злоупотребляют Евтушенко и его последователи (хотя он и употребляет нередко рифмы очень неточные, а иногда и корневые), ни за сногсшибательными ритмическими новшествами à la Вознесенский. (Правда, мы находим зато у Бродского весьма неортодоксальные сонеты без рифм). Стихи Бродского могут показаться медлительно-тягучими. Но в этой медлительности и тягучести, сочетаемой с некоторыми оригинальными приемами (например, очень своеобразными и разнообразными формами повторов — крайне характерны с этой точки зрения такие вещи как «Большая элегия» и «Исаак и Авраам», а также и некоторые короткие стихотворения, не говоря уже о такой оригинально задуманной

вещи как «Шествие») — оригинальность Бродского, то «необщее выраженье» лица его музы, о котором писал Баратынский. Интересны в ритмическом отношении некоторые опыты Бродского с неравносложными и многостопными строками (такие как «Проплывают облака...», «Ты поскачешь во мраке...» и др.). Вместе с тем удаются ему часто и стихи совсем другого рода — в традиционных размерах, в романтическом духе, с большой напевностью — например, «Стансы» (Ни страны, ни погоста...), «Стансы городу», «Рождественский романс».

Поэтическую генеалогию Бродского нелегко установить. Он мало на кого похож. На нем не чувствуется влияния ни Маяковского, ни Есенина, ни Пастернака. Иногда, может быть, проскальзывают нотки, напоминающие позднего Мандельштама или Заболоцкого, но он и не их ученик. Скажем прямо: он — ничей ученик, и для 23-летнего поэта этим уже многое сказано. В некоторых его вещах — и это относится не только к такой вещи на библейскую тему, как «Исаак и Авраам» — чувствуется, пожалуй, влияние Библии. Предсказывать, что выйдет из него дальше — особенно в советских условиях, уже отразившихся неблагоприятно на таких поэтах как Евтушенко и Вознесенский — нельзя. Но уже сейчас, в стихах, написанных в возрасте 21-23 лет, в нем виден незаурядный и в некоторых отношениях неожиданно зрелый поэт. Есть, конечно, и у него срывы, вещи более слабые, но о них не хочется сейчас говорить. От таких поэтов, как Евтушенко и Вознесенский, очень уж часто скользящих по поверхности и к тому же, в силу своей погони за успехом и популярностью, вынужденных всё время приспособляться, Бродского отличает и наличие в его стихах внутренней значительности, глубокого подводного течения. В его поэзии налицо сильная религиозная струя. Недаром в советском суде он посмел сказать, что поэзия и призвание поэта — «от Бога». Эта внутренняя

значительность особенно чувствуется в его «поэмах», в вещах, в которых заметно longue haleine (длинное дыхание). Самый выбор им большой формы интересен и показателен. А в «Шествии» этой большой форме придан драматический характер. Если и есть в этой своеобразной лирической драме некоторые срывы, ее полифоничность, ее сложный контрапункт свидетельствуют о незаурядном мастерстве молодого поэта, а ее литературные аллюзии подтверждают то, что говорили на суде о его литературной культуре Адмони и Эткинд. В этой вещи попадаются грубые и даже непечатные слова, но никакой «порнографии», о которой говорило обвинение, в ней нет. Нельзя назвать порнографией и довольно неудачное и немного навязчивое употребление Бродским слова «секс» в некоторых его лирических стихотворениях.

В стихах Бродского поражает и почти полное отсутствие обычной советской тематики — будь то с положительным или с отрицательным знаком. «Несозвучность» их — в другой плоскости. И несомненна его связь и с общеевропейским и русским символизмом, и с сюрреализмом, отчасти, может быть, через Заболоцкого (ср., например, «Холмы»).

Все, кому дорога русская поэзия, будут надеяться на освобождение талантливого молодого поэта, столь жестоко и несправедливо заклейменного кличкой тунеядца. Но будем вместе с тем надеяться, что, обретя физическую свободу, Бродский сумеет сохранить за собой и в себе и ту тайную творческую свободу, которую воспел Пушкин, а вслед за ним Александр Блок.

Мюнхен, декабрь 1964 г.

Георгий Стуков

Стихотворения

ХУДОЖНИК

Он верил в свой череп.
Верил.
Ему кричали:
«Нелепо!»
Но падали стены.
Череп,
Оказывается, был крепок.

Он думал:
За стенами чисто.
Он думал,
Что дальше — просто.

...Он спасся от самоубийства
Скверными папиросами.
И начал бродить по селам,
По шляхам,
Желтым и длинным;
Он писал для костелов
Иуду и Магдалину.
И это было искусство.

А после, в дорожной пыли
Его
Чумаки сивоусые
Как надо похоронили.

Молитвы над ним не читались.
Так,
Забросали глиной...
Но на земле остались
Иуды и Магдалины!

СЛАВА

Над утлой мглой столь кратких поколений,
пришедших в мир, как посетивших мир,
нет ничего достойней сожалений,
чем свет несвоевременных мерил.

По городам, поделенным на жадность,
он катится, как розовый транзит,
о, очень приблизительная жалость
в его глазах намеренно сквозит.

Но снежная Россия поднимает
свой утлый дым над крышами имен,
как будто он еще не понимает,
но всё же вскоре осознает он

ее полуовальные портреты,
ее глаза, а также голоса,
к эстетике минувшего столетья
анапесты мои соотнеся.

В иных домах, над запахами лестниц,
над честностью, а также над жульем,
мы доживем до аналогий лестных,
до сексуальных истин доживем.

В иных домах договорим о славе
и в жалости потеющую длань,
как в этих скудных комнатах, оставим
агностицизма северную дань.

Прости, о Господи, мою витиеватость,
неведенье всеобщей правоты
среди кругов, овалами чреватых,
и столь рациональной простоты.

Прости меня — поэта, человека —
о, кроткий Бог убожества всего,
как грешного или как сына века,
всего верней — как пасынка его.

СТИХИ ПОД ЭПИГРАФОМ

«То, что дозволено Юпитеру,
не дозволено быку...»

Каждый пред Богом
наг.
Жалок,
наг
и убог.
В каждой музыке
Бах,
В каждом из нас
Бог.
Ибо вечность —
богам.
Бренность —
удел быков...
Богово станет
нам
Сумерками богов.
И надо небом
рискнуть,
И, может быть,
невпопад.
Еще нас не раз
распнут
И скажут потом:
распад.

И мы
завоем
от ран.
Потом
взалкаем даров...
У каждого свой
храм.
И каждому свой
гроб.
Юродствуй,
воруй,
молись!
Будь одинок,
как перст!..
...Словно быкам —
хлыст,
Вечен богам
крест.

РЫБЫ ЗИМОЙ

Рыбы зимой живут.
Рыбы жуют кислород.
Рыбы зимой плывут,
задевая глазами
лед.
Туда.
Где глубже.
Где море.
Рыбы.
Рыбы.
Рыбы.
Рыбы плывут зимою.
Рыбы хотят выплыть.
Рыбы плывут без света.
Под солнцем
зимним и зыбким.
Рыбы плывут от смерти
вечным путем
рыбьим.
Рыбы не льют слезы;
упираясь головой
в глыбы,
в холодной воде
мерзнут
холодные глаза
рыбы.

Рыбы
всегда молчаливы,
ибо они —
безмолвны.
Стихи о рыбах,
как рыбы,
встают поперек
горла.

ПЕТУХИ

Звезды еще не гасли.
Звезды были на месте,
когда они просыпались
в курятнике
на насесте
и орали гортанно.

...Тишина умирала,
как безмолвие храма
с первым звуком хорала.
Тишина умирала.
Оратаи вставали
и скотину в орала
запрягали, зевая
недовольно и сонно.

Это было начало.
Приближение солнца
это всё означало,
и оно поднималось
над полями,
над горами.

...Петухи отправлялись
за жемчужными зернами.
Им не нравилось просо.

Им хотелось получше.
Петухи зарывались
в навозные кучи.
Но зерно находили.
Но зерно извлекали
и об этом с насеста
на рассвете кричали:
— Мы нашли его сами.
И очистили сами.
Об удаче сообщаем
собственными голосами.
В этом сиплом хрипении
за годами,
за веками
я вижу материю времени,
открытую петухами.

* * *

И вечный бой.
Покой нам только снится.
И пусть ничто
не потревожит сны.
Седая ночь,
и дремлющие птицы
качаются от синей тишины.

И вечный бой.
Атаки на рассвете.
И пули,
разучившиеся петь,
кричали нам,
что есть еще Бессмертье...
...А мы хотели просто уцелеть.

Простите нас.
Мы до конца кипели
и мир воспринимали,
как брустверы.
Сердца рвались,
метались и храпели,
как лошади,
попав под артобстрел.

...Скажите... там...
чтоб больше не будили.
Пускай ничто
не потревожит сны.

...Что из того,
что мы не победили,
что из того,
что не вернулись мы?..

ГЛАДИАТОРЫ

Простимся.
До встреч в могиле.
Близится наше время.
Ну, что ж?

Мы не победили.
Мы умрем на арене.
Тем лучше.
Не облысеем
от женщин, от перепоя.

...А небо над Колизеем
такое же голубое,
как над родиной нашей,
которую зря покинул
ради истин,
а также
ради богатства римлян.

Впрочем,
нам не обидно.
Разве это обида?
Просто такая,
видно,
выпала нам
планида...

Близится наше время.
Люди уже расселись.
Мы умрем на арене.

Людям хочется зрелищ.

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Эдуард Багрицкий.

колючий снег...
...И Пушкин падает в голубоватый

...И тишина.
И более ни слова.
И эхо.
Да еще усталость.
...Свои стихи
доканчивая кровью,
они на землю глухо опускались.
Потом глядели медленно
и нежно.
Им было дико, холодно
и странно.
Над ними наклонялись безнадежно
седые доктора и секунданты.
Над ними звезды, вздрагивая,
пели,
над ними останавливались
ветры...

Пустой бульвар.
И пение метели.
Пустой бульвар.
И памятник поэту.

Пустой бульвар.
И пение метели.
И голова
опущена устало.

...В такую ночь
ворочаться в постели
приятней,
чем стоять
на пьедесталах.

* * *

Прощай,
позабудь
и не обессудь.
А письма сожги...
Как мост.
Да будет мужественен
твой путь,
да будет он прям
и прост.
Да будет во мгле
для тебя гореть
звездная мишура,
да будет надежда
ладони греть
у твоего костра.
Да будут метели,
снега, дожди
и бешеный рев огня,
да будет удач у тебя впереди
больше, чем у меня.
Да будет могуч и прекрасен
бой,
гремящий в твоей груди.
Я счастлив за тех,
которым с тобой,
может быть,
по пути.

ПЕСЕНКА О ФЕДЕ ДОБРОВОЛЬСКОМ

Желтый ветер манчжурский,
говорящий высоко
о евреях и русских,
закопанных в сопку..

О, домов двухэтажных
тускловатые крыши!
О, земля-то всё та же.
Только небо — поближе.

Только минимум света.
Только утлые птицы,
словно облачко смерти
над землей экспедиций.

И глядит на Восток,
закрываясь от ветра,
черно-белый цветок
двадцатого века.

ПАМЯТИ ФЕДИ ДОБРОВОЛЬСКОГО

Мы продолжаем жить.
Мы читаем или пишем стихи.
Мы разглядываем красивых женщин,
улыбающихся миру с обложки
иллюстрированных журналов.
Мы обдумываем своих друзей,
возвращаясь через весь город
в полузамершем и дрожащем трамвае:
мы продолжаем жить.

Иногда мы видим деревья,
которые
черными обнаженными руками
поддерживают бесконечный груз неба,
или подламываются под грузом неба,
напоминающего по ночам землю.
Мы видим деревья,
лежащие на земле.
Мы продолжаем жить.
Мы, с которыми ты долго разговаривал
о современной живописи,
или с которыми пил на углу
Невского проспекта
пиво, —
редко вспоминаем тебя.
И когда вспоминаем,

то начинаем жалеть себя,
свои сутулые спины,
свое отвратительно работающее сердце,
начинающее неудобно ерзать
в грудной клетке
уже после третьего этажа.
И приходит в голову,
что в один прекрасный день
с ним — с этим сердцем —
приключится какая-нибудь нелепость,
и тогда один из нас
растянется на восемь тысяч километров
к западу от тебя
на грязном асфальтированном тротуаре,
выронив свои книжки,
и последним, что он увидит,
будут случайные встревоженные лица,
случайная каменная стена дома
и повисший на проводах клочок неба, —
неба,
опирающегося на те самые деревья,
которые мы иногда замечаем...

СОНЕТ

Переживи всех.
Переживи вновь,
словно они — снег,
пляшущий снег снов.

Переживи углы.
Переживи углом.
Перевяжи узлы
между добром и злом.

Но переживи миг.
И переживи век.
Переживи крик.
Переживи смех.

Переживи стих.

Переживи всех.

СОНЕТ К ГЛЕБУ ГОРБОВСКОМУ

Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы.
И, вероятно, вправду мы поэты,
Когда, кропая странные сонеты,
Мы говорим со временем на «вы».

И вот плоды: ракеты, киноленты;
И вот плоды: велеречивый стих...
Рисуй, рисуй, безумное столетье,
Твоих солдат, любовников твоих,

Смакуй их своевременную славу!
Зачем и правда, всё-таки, — неправда,
Зачем она испытывает нас...

И низкий гений твой переломает ноги,
Чтоб осознать в шестидесятый раз
Итоги странствований, странные итоги.

ПОСВЯЩЕНИЕ ГЛЕБУ ГОРБОВСКОМУ

Уходить из любви, в яркий солнечный день, безвозвратно;
Слышать шорох травы вдоль газонов, ведущих обратно,
В теплом облаке дня, в темном вечере зло, полусонно
Лай вечерних собак — сквозь квадратные гнезда газона.

Это трудное время. Мы должны пережить,
перегнать эти годы,
С каждым новым страданьем забывая былые невзгоды,
И встречая, как новость, эти раны и боль поминутно,
Беспокойно вступая в туманное новое утро.

Как стремительна осень в этот год, в этот год
путешествий,
Вдоль белесого неба, черно-красных умолкших процессий,
Мимо голых деревьев ежечасно проносятся листья,
Ударяясь в стекло, ударяясь о камень — мечты урбаниста.

Я хочу переждать, перегнать, пережить это время,
Новый взгляд за окно, опуская ладонь на колени,
И белесое небо, и листва, и полоска заката сквозная,
Словно дочь и отец, кто-то раньше уходит, я знаю.

Пролетают, летят, ударяются о́ землю, падают боком,
Пролетают, проносятся листья вдоль запертых окон,
Всё, что видно сейчас при угасшем померкнувшем свете,
Эта жизнь, словно дочь и отец, словно дочь и отец,
но не хочется смерти.

Оживи на земле, нет, не можешь, лежи, так и надо,
О, живи на земле, как угодно живи, даже падай,
Но придет еще время — расстанешься с горем и болью,
И наступят года без меня с ежедневной любовью.

И, кончая в мажоре, в пожаре, в мажоре полета,
Соскользни по стеклу, словно платье с плеча,
как значок поворота,
Оставаясь, как прежде, надолго ль, как прежде, на месте;
Не осенней тоской — ожиданьем зимы,
несмолкающей песней.

СТИХИ О СЛЕПЫХ МУЗЫКАНТАХ

Слепые блуждают
ночью.
Ночью намного проще
перейти через площадь.

Слепые живут
наощупь,
трогая мир руками,
не зная света и тени,
и ощущая камни:
из камня делают
стены.
За ними живут мужчины.
Женщины.
Дети.
Деньги.

Поэтому
несокрушимые
лучше обойти
стены.
А музыка — в них
упрется.
Музыку поглотят камни.
И музыка
умрет в них,
захватанная руками.

Плохо умирать ночью.
Плохо умирать
наощупь.

Так, значит, слепым — проще...
Слепой идет
через площадь.

ПАМЯТНИК

Поставим памятник
в конце длинной городской улицы
или в центре широкой городской площади,
памятник,
который впишется в любой ансамбль,
потому что он будет
немного конструктивен и очень реалистичен.
Поставим памятник,
который никому не помешает.

У подножья пьедестала
мы разобьем клумбу,
а если позволят отцы города, —
небольшой сквер,
и наши дети
будут жмуриться на толстое
оранжевое солнце,
принимая фигуру на пьедестале
за признанного мыслителя,
композитора
или генерала.

У подножия пьедестала — ручаюсь —
каждое утро будут появляться
цветы.
Поставим памятник,

который никому не помешает.
Даже шоферы
будут любоваться его величественным силуэтом.
В сквере
будут устраиваться свидания.
Поставим памятник,
мимо которого мы будем спешить на работу,
около которого
будут фотографироваться иностранцы.
Ночью мы подсветим его снизу прожекторами.

Поставим памятник лжи.

* * *

Зачем опять меняемся местами,
зачем опять, всё менее нужна,
плывет ко мне московскими мостами
посольских переулков тишина?

И сызнова полет автомобильный
в ночи к полупустым особнякам,
как сызмала, о город нелюбимый,
к изогнутым и каменным цветам.

И веточки невидимо трясутся,
да кружится неведомо печаль:
унылое и легкое распутство,
отчужденности слабая печать.

Затем. Затем торопишься пожить*
Затем, что этот юмор неуместный,
затем, что наши головы кружит
двадцатый век, безумное спортсменство.

Но переменным воздухом дыша,
бесславной маяты не превышая,
служи свое, опальная душа,
короткие дела не совершая.

---

* Два варианта:

«Затем, затем торопишься пожить».
«Затем. Затем. Торопишься пожить».

Меняйся, жизнь. Меняйся хоть извне
на дансинги, на Оперу, на воды,
заутреней — на колокол по мне;
безумием — на платную свободу.

Ищи, ищи неславного венка,
затем, что мы становимся любимы,
всё менее заносчивы пока
и потому всё более любимы.

* * *

Теперь я уезжаю из Москвы.
Ну, Бог с тобой, нескромное мученье.
Так вот они как выглядят, увы,
любимые столетия мишени.

Ну что ж, стреляй о перемене мест
и салютуй реальностям небурным,
хотя бы это просто переезд
от сумрака Москвы до Петербурга.

Стреляй о жизни, равная судьба,
о, даже приблизительно не целься.
Вся жизнь моя — неловкая стрельба
по образам политики и секса.

Всё кажется, что снова возвратим
бесплодность этих выстрелов бесплатных,
как некий приз тебе, Москва, о, тир —
все мельницы, танцоры, дипломаты.

Теперь я уезжаю из Москвы,
с пустым кафе расплачиваюсь щедро.
Так вот оно, подумаете вы,
бесславие в одёже разобщенья.

А впрочем, не подумаете, нет.
Зачем кружил вам облик мой случайный?
Но одиноких странствований свет
тем легче, чем их логика печальней.

Живи, живи, и делайся другим,
и, слабые дома сооружая,
живи, по временам переезжая,
и скупо дорожи недорогим.

* * *

Л. М.

Приходит время сожалений.
При полусвете фонарей,
при полумраке озарений
не узнавать учителей.

Так что-то движется меж нами,
живет, живет, отговорив
и, побеждая временами,
зовет любовников своих.

И вся-то жизнь — биенье сердца,
и говор фраз, да плеск вины,
и ночь над лодочкою секса
по слабой речке тишины.

Простимся, позднее творенье
моих навязчивых щедрот,
побед унылое паренье
и утлой нежности полет.

О Господи, что движет миром,
пока мы слабо говорим,
что движет образом немилым
и дышит обликом моим.

Затем, чтоб с темного газона
от унизительных утрат
сметать межвременные зерна
на победительный асфальт.

О, всё приходит понемногу
и говорит — живи, живи,
кружи, кружи передо мною
безумным навыком любви.

Свети на горестный посев,
фонарь сегодняшней печали,
и пожимай во тьме плечами,
и сокрушайся обо всех.

Февраль-март 1961.

* * *

Затем, чтоб пустым разговорцем
развеять тоску и беду,
я странную жизнь стихотворца
прекрасно на свете веду.
Затем, чтоб за криком прощальным
лицо возникало в окне,
чтоб думать с улыбкой печальной,
что выпадет, может быть, мне,
как в самом начале земного
движенья с мечтой о Творце,
такое же ясное слово
поставить в недальнем конце.

* * *

Еврейское кладбище около Ленинграда.
Кривой забор из гнилой фанеры.
За кривым забором лежат рядом
юристы, торговцы, музыканты, революционеры.

Для себя пели.
Для себя копили.
Для других умирали.
Но сначала платили налоги,
уважали пристава,
и в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами.

Может, видели больше.
Может, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали.
А потом их землей засыпали,
зажигали свечи,
и в день Поминовения
голодные старики высокими голосами,
задыхаясь от холода, кричали об успокоении.

И они обретали его.
В виде распада материи.

Ничего не помня.
Ничего не забывая.
За кривым забором из гнилой фанеры,
в четырех километрах от кольца трамвая.

* * *

Приходит март. Я сызнова служу
в несчастливом кружении событий.
Изменчивую прелесть нахожу
в смешеньи незначительных наитий.

Воскресный свет всё менее манит
бежать ежевечерних откровений,
покуда утомительно шумит
на улицах мой век полувоенный.

Воскресный свет. Всё кажется не та,
не та толпа, и тягостны поклоны.
Их время послужит, как пустота,
часам, идущим в доме Аполлона.

А мир живет, как старый однодум,
и снова что-то страшное бормочет,
покуда мы приравниваем ум
к пределам и деяниям наощупь.

Как мало на земле я проживу,
всё занятый невечными делами,
и полдни зимние столпятся над столами,
как будто я их сызнова зову.

Но что-нибудь останется во мне —
в живущем или в мертвом человеке —
и вырвется из мира
и извне
расстанется, свободное навеки.

Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. Галантность провожатых
у светлых лестниц, к зеркалам прижатых,
и лавровый заснеженный венец.

* * *

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь.

Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу,
во всем твоя, одна твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

НАСТУПАЕТ ВЕСНА

Дмитрию Бобышеву.

Пресловутая иголка в не менее достославном стоге,
в городском полумраке, в полусвете,
в городском гаме, плеске и стоне
тоненькая песенка смерти.

Верхний свет улиц, верхний свет улиц
всё рисует нам этот город и эту воду,
и короткий свист у фасадов узких,
вылетающий вверх, вылетающий на свободу.

Девочка-память бредет по городу, бренчат
в ладони монеты,
мертвые листья кружатся выпавшими рублями,
над рекламными щитами узкие самолеты взлетают в небо,
как городские птицы над железными кораблями.

Громадный дождь, дождь широких улиц льется
над мартом,
как в те дни возвращенья, о которых мы не позабыли.
Теперь ты идешь один, идешь один по асфальту,
и навстречу тебе летят блестящие автомобили.

Вот и жизнь проходит, свет над заливом меркнет,
шелестя платьем, тарахтя каблуками, многоименна,
и ты остаешься с этим народом, с этим городом
и с этим веком,
да, один на один, какой ты ни есть ребенок.

Девочка-память бредет по городу, наступает вечер,
льется дождь, и платочек ее хоть выжми,
девочка-память стоит у витрин и глядит
на белье столетья
и безумно свистит этот вечный мотив посредине жизни.

* * *

Теперь всё чаще чувствую усталость,
всё реже говорю о ней теперь.
О, промыслов души моей кустарность,
веселая и теплая артель.

Каких ты птиц себе изобретаешь,
кому их даришь или продаешь,
и в современных гнездах обитаешь,
и современным голосом поешь?

Вернись, душа, и перышко мне вынь,
пускай о славе радио споет нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших.
Вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.

СТАНСЫ

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский Остров
я приду умирать.
Твой фасад темносиний
я впотьмах не найду,
между выцветших линий
на асфальт упаду.
И душа неустанно,
поспешая во тьму,
промелькнет под мостами
в петроградском дыму.
И апрельская морось,
под затылком снежок.
И услышу я голос:
«До свиданья, дружок!»
И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
Словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

САД

О, как ты пуст и нем!
В осенней полумгле
сколь призрачно царит прозрачность сада,
где листья приближаются к земле
великим тяготением распада.

О, как ты нем!
Ужель твоя судьба
в моей судьбе угадывает вызов,
и гул плодов, покинувших тебя,
как гул колоколов, тебе не близок?

Великий сад!
Даруй моим словам
стволов круженье, истины круженье,
где я бреду к изогнутым ветвям
в паденье листьев, в сумрак возрожденья.

О, как дожить
до будущей весны
твоим стволам, душе моей печальной,
когда плоды твои унесены,
и только пустота твоя реальна.

Нет, уезжать!
Пускай куда-нибудь
меня влекут громадные вагоны.
Мой дольний путь и твой высокий путь —
теперь они тождественно огромны.

Прощай, мой сад!
Надолго ль?.. Навсегда.
Храни в себе молчание рассвета,
великий сад, роняющий года
на горькую идиллию поэта.

ПИЛИГРИМЫ

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы
идут по земле
пилигримы.

Увечны они, горбаты.
Голодны, полуодеты.
Глаза их полны заката.
Сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды дрожат над ними,
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним.

Да. Останется прежним.
Ослепительно снежным.
И сомнительно нежным.
Мир останется лживым.
Мир останется вечным.
Может быть, постижимым,
но всё-таки бесконечным.

И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И значит, остались только
Иллюзия и Дорога.
И быть над землей закатам.
И быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

* * *

Да, мы не стали глуше или старше.
Мы говорим слова свои, как прежде.
И наши пиджаки темны всё так же.
И нас не любят женщины всё те же.

И мы опять играем временами
В больших амфитеатрах одиночеств.
И те же фонари горят над нами,
Как восклицательные знаки ночи.

Живем прошедшим, словно настоящим,
На будущее время непохожим,
Опять не спим и забываем спящих,
А также дело делаем всё то же.

Храни, о юмор, юношей веселых
В ночных круговоротах тьмы и света
Великими для славы и позора
И добрыми для суетности века.

СТАНСЫ ГОРОДУ

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе.

Пусть меня отпоет
хор воды и небес, и гранит
пусть обнимет меня,
пусть поглотит,
мой шаг вспоминая,
пусть меня отпоет,
пусть меня, беглеца, осенит
белой ночью твоя
неподвижная слава земная.

Всё умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотою твоей
и с посмертной моей правотою.

ВОСПОМИНАНИЯ

Белое небо,
крутится надо мною.
Земля серая
тарахтит у меня под ногами.
Слева деревья. Справа
озеро очередное
с каменными берегами,
с деревянными берегами.

Я вытаскиваю, выдергиваю
ноги из болота,
и солнышко освещает меня
маленькими лучами.
Полевой сезон
пятьдесят восьмого года!
Узнаешь:
это — твое начало.

Еще живой Добровольский,
улыбаясь, идет по городу.
В дактилической рифме
еще я не разбираюсь.
Полевой сезон
пятьдесят восьмого года.
Я к Белому морю
медленно пробираюсь.

Реки текут на север.
Ребята бредут — по-пояс — по рекам.
Белая ночь над ними
легонько брезжит.
Я ищу. Я делаю из себя
человека.
И вот мы выходим,
выходим на побережье.

Голубоватый ветер
до нас уже долетает.
Земля переходит в воду
с коротким плеском.
Я опускаю руки
и голову поднимаю,
и море ко мне приходит
цветом своим белесым.

ГЛАГОЛЫ

Меня окружают молчаливые глаголы,
похожие на чужие головы
глаголы,
голодные глаголы, голые глаголы,
главные глаголы, глухие глаголы.

Глаголы без существительных, глаголы — просто.
Глаголы, которые живут в подвалах,
говорят — в подвалах,
рождаются — в подвалах
под несколькими этажами
всеобщего оптимизма.

Каждое утро они идут на работу,
раствор мешают и камни таскают,
но, возводя город, возводят не город,
а собственному одиночеству памятник воздвигают.

И уходя, как уходят в чужую память,
мерно ступая от слова к слову,
всеми своими тремя временами
глаголы однажды восходят на Голгофу.

И небо над ними,
как птица над погостом,
и, словно стоя

перед запертой дверью,
некто стучит, забивая гвозди
в прошедшее,
в настоящее,
в будущее
время.

Никто не придет и никто не снимет.
Стук молотка
вечным ритмом станет.
Земли гипербола лежит под ними,
как небо метафор плывет над ними!

КНИГА

Пришлите мне книгу со счастливым концом...
Назым Хикмет.

Путешественник, наконец, обретает ночлег.
Честняга-блондин расправляется с подлецом.
Крестьянин смотрит на деревья
И запирает хлев
на последней странице книги
со счастливым концом.
Упоминавшиеся созвездья капают в тишину,
в закрытые окна, на смежающиеся ресницы.
...В первой главе деревья
молча приникли к окну,
и в уснувших больницах больные кричат как птицы.
Иногда романы заканчиваются днем.
Ученый открывает окно, закономерность открыв,
тот путешественник
скрывается за холмом,
остальные герои встречаются в обеденный перерыв.
Экономика стабилизируется,
социолог отбрасывает сомненья.
У элегантных баров
блестят скромные машины.
Войны окончены. Подрастает поколенье,
и *каждая женщина может рассчитывать на мужчину.*

Блондины излагают разницу
между добром и злом.
Все деревья — в полдень — укрывают
крестьянина
тенью.
Все самолеты благополучно возвращаются на аэродром.
Все капитаны
отчетливо видят землю.
Глупцы умнеют. Лгуны перестают врать.
У подлеца, естественно, ничего не вышло.
...Если в первой главе кто-то продолжает орать,
то в тридцатой это, разумеется же, не слышно.
Сексуальная одержимость и социальный оптимизм,
хорошие эпиграфы из вилланделей, сонетов, канцон,
полудетективный сюжет, именуемый «жизнь».
...Пришлите мне эту книгу со счастливым концом!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью.

Плывет в тоске необъяснимой
Среди кирпичного надсада
Ночной кораблик негасимый
Из Александровского сада,
Ночной фонарик нелюдимый,
На розу желтую похожий,
Над головой своих любимых,
У ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
Пчелиный хор сомнамбул, пьяниц,
В ночной столице фотоснимок
Печально сделал иностранец,
И выезжает на Ордынку
Такси с больными седоками,
И мертвецы стоят в обнимку
С особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
Певец печальный по столице,
Стоит у лавки керосинной
Печальный дворник круглолицый,
Спешит по улице невзрачной
Любовник старый и красивый,
Полночный поезд новобрачный
Плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
Плывет в несчастие случайный,
Блуждает выговор еврейский
На желтой лестнице печальной,
И от любви до невеселья
Под Новый Год, под воскресенье,
Плывет красотка записная,
Своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
Дрожат снежинки на вагоне,
Морозный ветер, бледный ветер
Обтянет красные ладони,
И льется мед огней вечерних
И пахнет сладкою халвою,
Ночной пирог несет сочельник
Над головою.

Твой Новый Год по темно-синей
Волне средь моря городского
Плывет в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнется снова.
Как будто будет свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнется вправо,
Качнувшись влево.

ПРОПЛЫВАЮТ ОБЛАКА...

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,
в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие
постепенно,
в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Блестящие нити дождя переплетаются среди деревьев
и негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.
Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы
с красными гребнями,
маленькие ладони, поднятые к мокрой листве?

«Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...» —
— это дети поют и поют, черные ветви шумят,
голоса взлетают между листьев, между стволов неясных,
в сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад.

Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи,
улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов.
«Проплывают облака...» — это дети поют ночью, ночью,
от травы до вершин всё — биение, всё — дрожание голосов.

Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит.
Привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем,
среди черных ветвей облака с голосами, с любовью...
«Проплывают облака...» — это дети поют обо всём.

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,
блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса,
возле узких вершин в новых сумерках на мгновение
видишь сызнова, видишь сызнова угасшие небеса?

Проплывают облака, проплывают, проплывают
над рощей.
Где-то льется вода, только плакать и петь, вдоль
осенних оград,
всё рыдать и рыдать, и смотреть всё вверх, быть
ребенком ночью,
и смотреть всё вверх, только плакать и петь,
и не знать утрат.

Где-то льется вода, вдоль осенних оград, вдоль
деревьев неясных
в новых сумерках пенье, только плакать и петь,
только листья сложить.

Что-то выше нас. Что-то выше нас проплывает и гаснет,
только плакать и петь, только плакать и петь,
только жить.

* * *

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу аров.

Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном.

В ярко-красном кашнэ
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду

на мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна!
Рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна! Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего
ты прекрасна!

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редкоселья,
вылетают такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
Это наша зима всё не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и, полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,
оттого что подобно растенью
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью
или больше того —
оттого, что мы всё потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолствует небо героек,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте

по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всесильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
шелестят фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это возможно.

То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это всё неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни
и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле брюк твоих вечноширо́ких.

Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать,
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам на стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы
и собачьего лая.

* * *

Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам
вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме,
к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве,
по песчаному дну,
освещенный луной, и ее замечая одну.
Гулкий топот копыт по застывшим холмам —
это не с чем сравнить,
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьешь свою нить,
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине
кирпичей.

Ну и скачет же он по замерзшей траве, растворяясь
впотьмах,
возникая вдали, освещенный луной, на бескрайних холмах,
мимо черных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух
бьет по лицу,
говоря сам с собой, растворяется в черном лесу.
Вдоль оврагов пустых, мимо черных кустов,
не отыщется след,
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,
всё равно ты его ни за что никогда не сумеешь догнать,
кто там скачет в холмах, я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю —
обращаюсь к природе от лица треугольных домов,
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнутых окон бьет прекрасный рояль,
разливается свет,
кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле
самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов.
Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнет изумруд,
кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,
кто глядит на себя, отраженного в черной воде,
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.
Нет, не думай, что жизнь — это замкнутый круг небылиц,
ибо сотни холмов — поразительных круп кобылиц,
на которых в ночи, не при свете луны, мимо сонных округ,
засыпая, во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.
Всё равно — возвращенье, всё равно даже в ритме баллад
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат.
Даже если творец на иконах своих не живет и не спит,
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то
в виде копыт.

Ты, мой лес и вода, кто объедет, а кто, как сквозняк,
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,

кто лежит в темноте на спине в леденящем ручье.
Не неволь уходить, разбираться во всем не неволь,
потому что не жизнь, а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слыхать, как проходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно
маятник сна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

ПАМЯТИ ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ

Существует своего рода легенда, что перед расстрелом он увидел, как над головами солдат поднимается солнце. И тогда он произнес:
— А всё-таки восходит солнце...
Возможно, это было началом стихотворения.

Запоминать пейзажи
за окнами в комнатах
женщин,
за окнами в квартирах
родственников,
за окнами в кабинетах
сотрудников.
Запоминать пейзажи
за могилами единоверцев.
Запоминать пейзажи,
как медленно опускается снег,
когда нас призывают к любви.
Запоминать небо,
лежащее на мокром асфальте,
когда напоминают о любви к ближнему.
Запоминать,
как сползающие по стеклу мутные потоки дождя
искажают пропорции зданий,
когда нам объясняют, что мы должны
делать.

Запоминать,
как над бесприютной землею
простирает последние прямые руки
крест.
Лунной ночью
запоминать длинную тень,
отброшенную деревом или человеком.
Лунной ночью
запоминать тяжелые речные волны,
блестящие, словно складки поношенных
брюк.
А на рассвете
запоминать белую дорогу,
с которой сворачивают конвоиры,
запоминать,
как восходит солнце
над чужими затылками конвоиров

РОМАНС

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
недалеко, за цинковой рекой.
Ах, улыбнись в оставленных домах,
я различу на улицах твой взмах.

Недалеко, за цинковой рекой,
где стекла дребезжат наперебой,
и в полдень нагреваются мосты,
тебе уже не покупать цветы.

Ах, улыбнись в оставленных домах,
где ты живешь средь вороха бумаг
и запаха увянувших цветов,
мне не найти оставленных следов.

Я различу на улицах твой взмах,
как хорошо в оставленных домах
любить других и находить других,
из комнат бесконечно дорогих,
любовью умолкающей дыша,
навек уйти куда-нибудь спеша.

Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой,
когда на миг все люди замолчат.
Недалеко за цинковой рекой
твои шаги на целый мир звучат.

Останься на нагревшемся мосту,
роняй цветы в ночную пустоту,
когда река, блестя из темноты,
всю ночь несет в Голландию цветы.

ПИСЬМО К А. Д.

. . . . . .

Всё равно ты не слышишь, всё равно не услышишь
ни слова,
всё равно я пишу, но как странно писать тебе снова,
но как странно опять совершать повторенье прощанья,
добрый вечер. Как странно вторгаться в молчанье.

Всё равно ты не слышишь, как опять здесь весна наростает,
как чугунная птица с тех же самых деревьев слетает,
как свистят фонари, где в ночи ты одна проходила,
распускается день — там, где ты в одиночку любила.

Я опять прохожу в том же светлом раю, где ты
долго болела,
где в шестом этаже в этой бедной любви одиноко
смелела,
там, где вновь на мосту собираются красной гурьбою
те трамваи, что всю твою жизнь торопливо неслись
за тобою.
Боже мой! Всё равно, всё равно за тобой не угнаться,
всё равно никогда, всё равно никогда не подняться
над отчизной своей, но дано увидать на прощанье —
над отчизной своей ты летишь в самолете молчанья.

Добрый путь, добрый путь, возвращайся с деньгами
и славой,
добрый путь, добрый путь, о как ты далека, Боже правый!

Но куда ты спешишь, по бескрайней земле пробегая,
как здесь нету тебя! Ты как будто мертва, дорогая!

В этой новой стране непорочный асфальт под ногою,
твои руки и грудь — ты становишься смело другою,
в этой новой стране, там, где ты обнимаешь и дышишь,
говоришь в микрофон, но на свете кого-то не слышишь.

Сохраняю твой лик, устремленный на миг в безнадежность,
— безразличный тебе — за твою уходящую нежность,
за твою одинокость, за слепую твою однодумность,
за смятенье твое, за твою молчаливую юность.

Всё, что ты обгоняешь, отстраняешь, проносишься мимо,
всё, что было и есть, всё, что будет тобою гонимо —
ночью, днем ли, зимою ли, летом, весною
и в осенних полях — это всё остается со мною.

Принимаю твой дар, твой безвольный, бездумный
подарок,
грех отмытый, чтоб жизнь распахнулась, как тысяча арок,
а быть может, сигнал — дружелюбный — о прожитой
жизни,
чтоб не сбиться с пути на твоей невредимой отчизне.

До свиданья! Прощай! Ты не ты — это кто-то другая,
до свиданья, прощай! До свиданья, моя дорогая.
Отлетай, отплывай самолетом молчанья —
в пространстве мгновенья
кораблем забыванья в широкое море забвенья.

* * *

Был черный небосвод светлей тех ног,
и слиться с темнотою он не мог.
В тот вечер возле нашего огня
увидели мы черного коня.

Не помню я чернее ничего.
Как уголь, были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота.
Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была
спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит.
Пугала чернота его копыт.

Он черен был, не чувствовал теней.
Так черен, что не делался темней.
Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла.
Так черен, как деревья впереди.
Как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно.
Я думаю: внутри у нас черно.

Но всё-таки чернел он на глазах!
Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг.
В паху его царил бездонный мрак.

Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна.
Глаза его белели, как щелчок.
Еще страшнее был его зрачок.

Как будто он был чей-то негатив.
Зачем же он, свой бег остановив,
меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал,
раздавленными сучьями шуршал?*
Зачем струил он черный свет из глаз?

Он всадника искал себе средь нас.

---

* Вариант этих строк в другом списке:

Зачем во тьме он сучьями шуршал,
Зачем он черным воздухом дышал?

* * *

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал, поблескивал паркет,
темнела печка, в раме запыленной
застыл пейзаж, и лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

2-II-62.

Я КАК УЛИСС

О.Б.

Зима, зима, я еду по зиме,
куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.

Ну, вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусинных,
и чужаки попрежнему снуют
в январских освеженных магазинах.

И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица крептоновый всё чаще,
гони меня, как новый Ганимед
хлебну зимой изгнаннической чаши

и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге, повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.

Мелькай, мелькай по сторонам, народ,
я двигаюсь, и кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь попрежнему обратно.

Так человека встречного лови
и всё тверди в искусственном порыве:
от нынешней до будущей любви
живи добрей, страдай неприхотливей.

ТРИ ГЛАВЫ

Глава 1

Когда-нибудь, болтливый умник,
среди знакомств пройдет зима,
когда в Москве от узких улиц
сойду когда-нибудь с ума.

На шумной родине балтийской
среди худой полувесны
протарахтят полуботинки
по слабой лестнице войны,

и дверь откроется. О память,
смотри, как улица пуста,
один асфальт под каблуками,
наклон Литейного моста,

и в этом ровном полусвете
смещенья равных непогод,
не дай нам Бог кого-то встретить,
ужасен будет пешеход.

И с криком сдавленным обратно
ты сразу кинешься, вослед
его шаги и крик в парадном,
дома стоят, парадных нет,

да город этот-ли, не этот,
здесь не поймают, не убьют,
сойдут с ума, сведут к поэту,
тепло, предательство, приют.

Глава 2

Апрель, сумятица и кротость
любви, любви полупитья,
и одинокость, одинокость
над полуправдой бытия,

что ж, переменим, переедем,
переживем, полудыша,
и никогда ни тем, ни этим
не примиренная душа,

как будто более тоскливы
чужой и собственной тщеты,
вдоль нас и Финского залива
стоят рекламные щиты,

уже не суетный, небрежный,
любовник брошенный, пижон,
забывший скуку побережий
и меру времени — сезон,

чего не станет с человеком,
грехи не все, дела не все,
шумит за дюнами и снегом,
шумит за дюнами шоссе,

какая разница и радость,
и вот автобус голубой,
глядишь в окно, и безвозвратность
всё тихо едет за тобой.

Глава 3

Ничто не стоит сожалений,
люби, люби, а всё одно —
знакомств, даров и поражений
нам переставить не дано,

и вот весна, ступать обратно
за черно-белые дворы,
где на железные ограды
ложатся легкие стволы,

и жизнь проходит в переулках,
как обедневшая семья,
летит на цинковые урны
и липнет снег небытия,

войди в подъезд неосвещенный
и вытри слезы и опять
смотри, смотри, как возмущенный
Борей всё гонит воды вспять.

Куда ж идти, вот ряд оконный,
фонарь, парадное, уют,
любовь и смерть, слова знакомых,
и где-то здесь тебе приют.

* * *

Мне говорят, что нужно уезжать.
Да-да. Благодарю. Я собираюсь.
Да-да. Я понимаю. Провожать
не следует. Да, я не потеряюсь.

Ах, что вы говорите — дальний путь.
Какой-нибудь ближайший полустанок.
Ах, нет, не беспокойтесь. Как-нибудь.
Я вовсе налегке. Без чемоданов.

Да-да. Пора идти. Благодарю.
Да-да. Пора. И каждый понимает.
Безрадостную зимнюю зарю
над родиной деревья поднимают.

Всё кончено. Не стану возражать.
Ладони бы пожать — и до свиданья.
Я выздоровел. Нужно уезжать.
Да-да. Благодарю за расставанье.

Вези меня по родине, такси.
Как будто бы я адрес забываю.
В умолкшие поля меня неси.
Я, знаешь ли, с отчизны выбываю.

Как будто бы я адрес позабыл:
к окошку запотевшему приникну
и над рекой, которую любил,
я расплачусь и лодочника крикну.

(Всё кончено. Теперь я не спешу.
Езжай назад спокойно, ради Бога.
Я в небо погляжу и подышу
холодным ветром берега другого).

Ну, вот и долгожданный переезд.
Кати назад, не чувствуя печали.
Когда войдешь на родине в подъезд,
я к берегу пологому причалю.

ДВА СОНЕТА

1

Великий Гектор стрелами убит.
Его душа плывет по темным водам,
шуршат кусты и гаснут облака,
вдали невнятно плачет Андромаха.

Теперь печальным вечером Аякс
бредет в ручье прозрачном по колено,
а жизнь бежит из глаз его раскрытых
за Гектором, а теплая вода
уже по грудь, но мрак переполняет
бездонный взгляд сквозь волны и кустарник,
потом вода опять ему по пояс,
тяжелый меч, подхваченный потоком,
плывет вперед
и увлекает за собой Аякса.

2

Г. П.

Мы снова проживаем у залива,
и проплывают облака над нами,
и современный тарахтит Везувий,
и оседает пыль по переулкам,
и стекла переулков дребезжат.
Когда-нибудь и нас засыпет пепел.

Так я хотел бы в этот бедный час
приехать на окраину в трамвае,
войти в твой дом,
и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.

ДИАЛОГ

— Там он лежит, на склоне.
Ветер повсюду снует.
В каждой дубовой кроне
сотня ворон поет.
— Где он лежит, не слышу.
Листва шуршит на ветру.
Что ты сказал про крышу,
слов я не разберу.

— В кронах, сказал я, в кронах
темные птицы кричат.
Слетают с небесных тронов
сотни его внучат.
— Но разве он был вороной?
Ветер смеется во тьму.
Что ты сказал о коронах,
слов твоих не пойму.

— Прятал свои усилья
он в темноте ночной.
Всё, что он сделал: крылья
птице черной одной.
— Ветер мешает мне, ветер.
Уйми его, Боже, уйми.
Что же он делал на свете,
если он был с людьми?

— Листьев задумчивый лепет,
а он лежит не дыша.
Видишь облако в небе,
это его душа.
— Теперь я тебя понимаю:
ушел, улетел он в ночь.
Теперь он лежит, обнимая
корни дубовых рощ.

— Крышу я делаю, крышу
из густой дубовой листвы.
Лежит он озера тише,
ниже всякой травы.
Его я венчаю мглою.
Корона ему под стать.
— Как ему там, под землею?
— Так, что уже не встать.

Там он лежит с короной,
там я его забыл.
— Неужто он был вороной?
— Птицей, птицей он был.

* * *

А. А. А.

1

Когда подойдет к изголовью
смотритель приспущенных век,
я вспомню запачканный кровью,
укатанный лыжами снег,
платформу в снегу под часами,
вагоны — зеленым пятном
и длинные финские сани
в сугробах под Вашим окном,
заборы, кустарники, стены
и оспинки гипсовых ваз,
и сосны
— для Вас уже тени,
недолго деревья для нас.

2

Не жаждал являться до срока,
он медленно шел по земле,
он просто пришел издалека
и молча лежит на столе.
Потом он звучит безучастно
и тает потом на лету.

И вот, как тропинка с участка,
выводит меня в темноту.

ДОРОГОМУ Д. Б.

Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе,
улыбаясь сейчас широко каждый собственной музе.
Тополя и фонтан, соболезнуя вам, рукоплещут,
в теплой комнате сна в двух углах ваши лиры трепещут.
Одинокому мне это всё интересно и больно.
От громадной тоски, чтобы вдруг не заплакать невольно,
к молодым небесам за стеклом я глаза поднимаю,
на диване родном вашей песне печальной внимаю,
от фонтана бегут золотистые фавны и нимфы,
все святые страны предлагают вам взять свои нимбы,
золотистые лиры наполняют аккордами зданье
и согласно звучат, повествуя о вашем страданьи.
Это значит весь мир, — он от ваших страстей не зависит,
но и бедная жизнь вашей бедной любви не превысит,
это ваша печаль — дорогая слоновая башня:
исчезает одна, нарождается новая басня.
Несравненная правда дорогими глаголет устами.
И всё громче они ударяют по струнам перстами.
В костяное окно понеслась обоюдная мука
к небесам и в Аид — вверх и вниз, по теории звука.

Создавая свой мир, окружаем стеною и рвами
для защиты его. Оттого и пространство меж вами,
что, для блага союза, начиная ее разрушенье,
вы себя на стене сознаете всё время мишенью.

* * *

1

Под вечер он видит, застывши в дверях:
два всадника скачут в окрестных полях,
как будто по кругу, сквозь рощу и гать,
и долго не могут друг друга догнать.
То бросив поводья, поникнув, устав,
то снова в седле возбужденно привстав,
и быстро по светлому склону холма,
то в рощу опять, где сгущается тьма.

Два всадника скачут в вечерней грязи,
не только от дома, от сердца вблизи,
друг друга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И так никогда им на свете вдвоем
сквозь рощу и гать, сквозь пустой водоем,
но ехать в виду станционных постов,
как будто меж ними не сотня кустов!

Вечерние призраки! — где их следы,
не видеть двойного им всплеска воды,
их вновь возвращает себе тишина,
он знает из окриков их имена.
По сельской дороге в холодной пыли,
под черными соснами, в комьях земли,
два всадника скачут над бледной рекой,
два всадника скачут: тоска и покой.

2

Пустая дорога под соснами спит,
смолкает за стеклами топот копыт,
я знаю обоих, я знаю давно:
так сердце стучит, как им мчаться дано.

Так сердце стучит: за ударом удар,
с полей наплывает холодный угар,
и волны сверкают в прибрежных кустах,
и громко играет любимый состав.

Растаял их топот, а сердце стучит!
Нисходит на шопот, но всё ж не молчит,
и, значит, они продолжают скакать!
Способны умолкнуть, не могут — смолкать.

Два всадника мчатся в полночную мглу,
один за другим, пригибаясь к седлу,
по рощам и рекам, по черным лесам,
туда, где удастся им взмыть к небесам.

3

Июльскою ночью в поселке темно.
Летит мошкара в золотое окно.
Горячий приемник звенит на полу,
и смелый Гиллеспи подходит к столу.

От черной печали до твердой судьбы,
от шума вначале до ясной трубы,
от лирики друга до счастья врага
на свете прекрасном всего два шага.

Я жизни своей не люблю, не боюсь,
я с весом своим ни за что не борюсь.
Пускай что угодно вокруг говорят,
меня беспокоят, его веселят.

У каждой околицы этой страны,
на каждой ступеньке, у каждой стены,
в недальнее время, брюнет иль блондин,
появится дух мой, в двух лицах один.

И просто за смертью, на первых порах,
хотя бы вот так, как развеянный прах,
потёмки застав над бумагой с утра,
хоть пылью коснусь дорогого пера.

4

Два всадника скачут в пространстве ночном,
кустарник распался в тумане речном,
то дальше, то ближе, за юной тоской
несется во мраке прекрасный покой.

Два всадника скачут, их тени парят.
Над сельской дорогой все звезды горят.
Копыта стучат по застывшей земле.
Мужчина и женщина едут во мгле.

СОНЕТ

Я снова слышу голос твой тоскливый
на пустырях — сквозь хриплый лай бульдогов,
и след родной ищу в толпе окраин,
и вижу вновь рождественскую хвою,
и огоньки, шипящие в сугробах.
Ничто верней твой адрес не укажет,
чем этот крик, блуждающий во мраке
прозрачною, хрустальной каплей яда.

Теперь и я встречаю новый год
на пустыре, в бесшумном хороводе,
и гаснут свечи старые во мне,
а по устам бежит вино Тристана,
и в первый раз на зов не отвечаю.
С недавних пор я вижу и во мраке.

Поэмы

ГОСТЬ

ПОЭМА

Глава первая

Друзья мои, ко мне на этот раз.
Вот улица с осенними дворцами,
но не асфальт, — покрытая торцами,
друзья мои, вот улица для вас.

Здесь бедные любовники, легки,
под вечер в парикмахерских толпятся,
и сигареты белые дымятся,
и белые дрожат воротники.

Вот книжный магазин, но не богат
любовью, путешествием, стихами,
и на балконах звякают стаканы,
и занавесы тихо шелестят.

Я обращаюсь в слух, я обращаюсь в слух:
вот возгласы и платьев стук нарядный.
Как эти звуки родины приятны
и коротко желание услуг.

Всё жизнь не та, всё кажется: на сердце
лежит иной, несовременный груз,
и всё волнует маленькую грудь
в малиновой рубашке фарисейства.

Зачем же так... Стихи мои — добрей.
Скорей от этой ругани подстрочной.
Вот фонари под вывеской молочной,
коричневые крылышки дверей.

Вот улица, вот улица, не редкость —
одним концом в коричневую мглу,
и рядом детство плачет на углу,
а мимо всё проносится тролейбус.

Когда-нибудь, со временем, пойму,
что тоньше, поучительнее даже,
что проще и значительней пейзажа
не скажет время сердцу моему.

Но до сих пор обильностью врагов
меня портрет всё более заботит.
И вот теперь по улице проходит
шагами быстрыми любовь.

Не мне спешить, не мне бежать вослед
и на дорогу сталкивать другого
и жить не так. Но выкрик ранних лет
опять летит. — Простите, ради Бога.

Постойте-же. Вдали Литейный мост.
Вы сами видите — он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,
из будущего времени приходит.

Глава вторая

Теперь покурим белых сигарет,
друзья мои, и пиджаки наденем,
и комнату на семь частей поделим,
и каждому достанется портрет.

Да, каждому портрет. Друзья, уместно ль
заметить вам, вы знаете, друзья,
приятеля теперь имею я...
Вот комната моя. Из переездов

всегда сюда. Родители, семья,
а дым отечественный запах не меняет.
...Приятель чем-то вас напоминает...
Друзья мои, вот комната моя.

Здесь родина. Здесь будто без прикрас,
здесь прошлым днем и нынешним театром,
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра,
друзья мои, вот комната для вас.

Вот комната любви, диван, балкон,
и вот мой стол — вот комната искусства.
А по торцам грузовики трясутся
вдоль вывесок и розовых погон

пехотного училища. Приятель
идет ко мне по улице моей.
Вот комната, не знавшая детей,
вот комната родительских кроватей.

А что о ней сказать? Не чувствую ее,
не чувствую, могу лишь перечислить.
Вы знаете... Ах, нет... Здесь очень чисто, —
всё это мать, старания ее.

Вы знаете, ко мне... Ах, не о том,
о комнате с приятелем, с которым...
А вот отец, когда он был майором
(Фотографом он сделался потом).

Друзья мои, вот улица и дверь
в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
на площади, где дерево и церковь
для тех, кто верит Господу теперь.

Друзья мои, вы знаете, дела,
друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете — пора, —
друзья мои с недолгими стихами.

Друзья мои, вы знаете, как странно...
Друзья мои, ваш путь обратно прост...
Друзья мои, вот гасятся рекламы.
Вы знаете, ко мне приходит гость.

Глава третья

По улице, по улице, свистя,
заглядывая в маленькие окна,
и уличные голуби летят
и клювами колотятся о стекла.

Как шопоты, как шелесты грехов,
как занавес, как штора одинаков,
как посвист ножниц — музыка шагов,
и улица — как белая бумага.

То Гаммельн или снова Петербург,
чтоб адресом опять не ошибиться
и за углом почувствовать испуг,
но за углом висит самоубийца.

Ко мне приходит гость, ко мне приходит гость.
Гость лестницы единственной на свете,
гость совершенных дел и маленьких знакомств,
гость юности и злобного бессмертья.

Гость белой нищеты и белых сигарет,
Гость юмора и шуток непоместных.
Гость неотложных горестных карет,
вечерних и полуночных арестов.

Гость озера обид — сих маленьких морей.
Единый гость и цели и движенья.
Гость памяти моей, поэзии моей,
Великий Гость побед и униженья.

Будь гостем, Гость. Я созову друзей, —
(пускай они возвеселятся тоже),
веселых победительных гостей
и на Тебя до ужаса похожих.

Вот вам приятель — Гость. Вот вам приятель — ложь.
Всё та же пара рук. Всё та же пара глаз.
Не завсегдатай Гость, но так на вас похож,
и только имя у него — Отказ.

Смотрите на него. Разводятся мосты,
ракеты, киноленты, переломы...
Любите же его. Он — менее, чем стих,
но — более, чем проповеди злобы.

Любите же его. Чем станет человек,
когда его столетие возвысит,
когда его возьмет двадцатый век —
век маленькой стрельбы и страшных мыслей?

Любите же его. Он направляет мозг
и новым взглядом комнату обводит...

...Прощай, мой Гость. К тебе приходит Гость.
Приходит Гость. Гость Времени приходит.

ХОЛМЫ

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кусков кирпича.
Над розовым шпилем банка
ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
электрик венчался там.
А здесь на холме было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
Только комар жужжал.

Трава там была примята,
где сидели они всегда.
Повсюду черные пятна
оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно.
Но они не знали о том.

Окурки, спички и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —
как и сидели там.

По разным склонам спускались,
случалось боком ступать.
Кусты пред ними смыкались
и расступались опять.
Скользили в траве ботинки.
Меж камней блестела вода.
Один достигал тропинки,
другой в тот же миг пруда.

Был вечер нескольких свадеб
(кажется, было две).
Десяток рубах и платьев
маячил внизу в траве.
Уже закат унимался
и тучи к себе манил.
Пар от земли поднимался,
а колокол всё звонил.

Один, кряхтя, спотыкаясь,
другой, сигаретой дымя —
в тот вечер они спускались
по разным склонам холма.
Спускались по разным склонам,
пространство росло меж них.
Но страшный одновременно
воздух потряс их крик.

Внезапно кусты распахнулись,
кусты распахнулись вдруг.
Как будто они проснулись,
а сон их был полон мук.
Кусты распахнулись с воем,
как будто раскрылась земля.
Пред каждым возникли двое,
железом в руках шевеля.

Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам.
Другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь.

Еще пробирались наощупь
к местам за столом женихи,
а страшную весть на площадь
уже принесли пастухи.
Вечерней зарей сияли
стада густых облаков.
Коровы в кустах стояли
и жадно лизали кровь.

Электрик бежал по склону
и шурин за ним в кустах.
Невеста внизу обозленно
стояла одна в цветах.
Старуха, укрытая пледом,
крутила пред ней тесьму,
а пьяная свадьба следом
за ними неслась к холму.

Сучья под ними трещали,
они неслись, как в бреду.
Коровы в кустах мычали
и быстро спускались к пруду.
И вдруг все увидели ясно
(царила вокруг жара):
чернела в зеленой ряске,
как дверь в темноту, дыра.

-:-:-:-

Кто их оттуда поднимет,
достанет их из пруда?
Смерть, как вода над ними,
в желудках у них вода.
Смерть уже в каждом слове,
в стебле, обвившем жердь.
Смерть в зализанной крови,
в каждой корове смерть.

Смерть в погоне напрасной
(будто ищут воров).
Будет отныне красным
млеко этих коров.

В красном, красном вагоне
с красных, красных путей,
в красном, красном бидоне
— красных поить детей.

Смерть в голосах и взорах.
Смертью полн воротник.
Так им заплатит город:
смерть тяжела для них.
Нужно поднять их, поднять бы.
Как превозмочь тоску,
если убийство в день свадьбы,
красным — быть молоку?

-:-:-:-

Смерть — не скелет кошмарный
с длинной косой в росе.
Смерть — это тот кустарник,
в котором стоим мы все.
Это не плач похоронный,
а также не черный бант.
Смерть — это крик вороний,
смерть — это красный банк.

Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть — это стекла в бане,
в церкви, в домах — подряд!
Смерть — это всё, что с нами —
ибо они — не узрят.

Смерть — это наши силы,
наши труды и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.
Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.

-:-:-:-

Розы, герань, гиацинты,
пионы, сирень, ирис —
на страшный их гроб из цинка
розы, герань, нарцисс,
лилии, словно из басмы,
запах их прян и дик,
левкой, орхидеи, астры,
розы и сноп гвоздик.

Прошу отнести их к брегу,
вверить их небесам.
В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К черным лесным протокам,
к темным лесным домам,
к мертвым полесским топям,
вдаль — к балтийским холмам.

Холмы — это наша юность.
Гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав.

Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.

Холмы — это наши страданья.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
всё это — в их кустах.

Холмы — это вечная слава.
Стоят всегда напоказ
от наших страданий вправо.*
Холмы — это выше нас.
Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.
Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.
Смерть — это только равнины.
Жизнь — холмы, холмы.

---

* В другом списке эти две строки читаются так:
Ставят всегда напоказ
На наши страданья право.

БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ

ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг,
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло всё. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях,
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьях, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Всё уснуло.
Уснуло всё. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
Ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули арки, стены, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.

Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шопот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Всё спит. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы
средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, крабы, пихты, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисицы, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло всё. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
По одиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло всё. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому

геенна спит и рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.
Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим, как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, густ, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло всё. Спят крепко толпы книг.
Спят реки слов, покрыты льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят. Чуть-чуть звенят их звенья.
Все крепко спят: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые. Их друзья. Их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на целом свете.

Но, чу! Ты слышишь — там в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос. Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И он так одиноко
плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко.
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей? Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг. Не вы ль? Не вы ль?» — Молчанье.
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет».
Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж, лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»

Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.

Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда всё, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай,

и колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — всё станет сном библейским.

Ну, вот я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя придти туда мне во плоти.
Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле, забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но, чу, пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас закрыта тучей.
Подобье птиц. Душа его чиста,
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном

пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло всё. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно всё тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.
Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди и выглянет из туч
Звезда, что столько лет твой мир хранила.

ИСААК И АВРААМ

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет — пойди ищи-свищи.

И этой также — капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
Что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно — лишь крича:
«Исак! Исак!» — и это справа, слева:
«Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
и всех потом к нему воззвать заставить —
ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук

и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,
в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра Воска?

«Идем же, Исаак». — «Сейчас иду».
«Идем быстрей». — Но медлит тот с ответом.
«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».
(Свеча горит во мраке полным светом).
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
«Чего ты встал»? — «Глаза полны песку».
«Не отставай». — «Нет-нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к пустому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним

ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.
Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».
Волна пришла и вновь уходит вспять.
Как долгий разговор, смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но нет здесь брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии — челны, челны,
вода глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери — спины свет закрыли.
Сейчас они — по вертикали — вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...

И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножьи,
волна шуршит и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему всё ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы с тенями их родными,
глядят в упор, и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночью,
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
в безумный счет свергает быстро рощу.
Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
«Здесь недалеко», куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал вида и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.
Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,

разросшейся над ним — и там звезда
средь них (корней) зажгла свой свет прозрачный.

Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.
И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.
По сути дела, куст похож на всё.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо —
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг).
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
«Идем скорей». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой», — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей», — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Пошли». — «Сейчас». — «Не слышу».
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
Он с кровью схож — она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).
Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.
Движенье в них, в них точно та же дрожь.

Смыкаются они, а что в их сени?
Смыкаются и вновь спешат назад.
Пресечь они друг друга здесь не могут.
Мешаются в ночи, вблизи скользят.
Изогнуты суставы, лист изогнут.
Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,
а те, кто жаждет прочь — тотчас трещат
и падают — и вот он, хворост, хворост.
И вновь над ними ветер мчит свистя.
Оставшиеся — вмиг — за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружиной некой.
Всё жаждет в этом царстве чувств:
как облик их, с кустом пустынным схожий,
колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.
Не только облик (чувств) — должно быть, весь
огромный мир — грубей, обширней, тоньше,
стократ сильней (пышней) — столпился здесь.
«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
У ветки «К» отростков только два,
а ветка «У» — всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова.
учить по форме букв, в ущерб составам.
«Эй, Исаак!» — «Сейчас, иду. Иду».
(Внутри него горячий пар скопился.
Он на ходу поднес кувшин ко рту,
но поскользнулся, — тот упал, разбился).
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак

ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна, и каждый новый шаг
сверкает, как сребро в песчаном злате.
Холмы, холмы. Не видно им конца.
Не видно здесь нигде предметов твердых.
Всё зыбко, как песок, как тень отца.
Неясный гул растет в небесных сверлах.
Блестит луна, синеет густо даль.
Сплошная тень, исчез бесследно ветер.
«Далеко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль»,
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц,
но всё молчат: они идут ведь рядом.
Но Аврааму ясно всё и так:
они пришли, он туфлей ямки роет.
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.
Они себе вот здесь ночлег устроят.
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему — и вот: «Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».
«Идем же». — Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Всё небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Всё тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку бросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,

а искры прочь летят в ночной простор.
Ломает Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:
«Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы». — Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их — теперь уж только время
разлучит их, не то, что плоть, а твердь;
однако, здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь — в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью — пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, —
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.
Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
«Подай сюда. Сейчас ее порву».
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:

«Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и всё спешил вдогонку,
но так как мы пришли, прошла беда) —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну, ладно, хочешь выпить?»
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там всё сильней гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: — «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
«В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он сам устроит...»
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.
Блестит звезда. Всё ближе сонный царь
подходит к Исааку. Вот он рядом.
«Там жертвенник давнишний. Сложен он
давным-давно... Не помню кем, однако».
Холмы песка плывут со всех сторон,
как прежде, — будто куст не подал знака.

Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули всё и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:

Безмолвный куст пред ним ветвями машет.
Он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы — больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» — в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто
тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви всё длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва всё ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму всё выше.
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, С и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в кресте,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит вниз скользнуть,
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.
И ветви, видит он, длинней, длинней.
И вот они его в себя приняли.

Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...
На самом деле — дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,
его понес туда, откуда след
протоптан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,
и Исаака он на это ложе
сложил сейчас — и всё проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб он резал в доме...)
«Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной — кинжал, в другой — родная плоть.
«Сейчас соединю...» — и тут же замер,
едва пробормотав: «Спаси, Господь» —
из-за бархана быстро вышел ангел.

«Довольно, Авраам», — промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул, — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим всё. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай они узрят, что в мире зла нет.

Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь; где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.
Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах — так то с кустов живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза -— здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу —
ответь же мне — идем». Поднялся ветер.

«Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми — с людьми родными,
где всё, что есть, живет в одном плену,
где всё, что есть, стократ изменит имя.
Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
Кусты окружат их, поглотит шаг
т р а в а полей, и л е с в родной лазури
мелькнет, как Авраам, как Исаак.
Идемте же. Сейчас утихнет буря.
Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же, Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Всё.
Конец всему. Всё ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь всё ясно точно».

Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
что отразились тут же рядом в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят кусты, летают тыщи мух.

В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь всё полно щелей, просветов, трещин.
Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, —
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.
В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это всё пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела гораздо хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет кося, —
куда, — лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако, «вход» в сей дом со «стенкой» слит.

Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски — и кто сильнее...
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
Там, где лежат верблюды, Исаак
с каким-то пришлецом ведет беседу.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Кричит овца, жужжит оса невнятно.
Струится пар с горячих красных лиц.
Шатры лежат в долине, словно пятна.
Бредут стада. Торчит могильный дом.
Журчит ручей, волна траву колышет.
Он встрепенулся: в воздухе пустом
он собственное имя снова слышит.
Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,
идет народ, с востока туча йдет.
Вокруг костров, как в танце, псы кружат,
шумят кусты, и вот бугор он видит.
Стоит жена, за ней шатры, поля.
В ее руке — зеленой смоквы ветка.
Она ей машет и зовет царя:
«Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду», ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот, — туда, где гаснет окрик.
«Исак, не отставай». — «Нет, нет, иду».
(Березка проявляет мощь и стойкость).
«Исак, ты помнишь дом?» — «Да-да, найду».
«Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой» — (под шапку, как под крышу).
«Давай, скорей», — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».
По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
оплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,
который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако, он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука).
Что значит «С», мы знаем из к у с т а :
«С» — это жертва, связанная туго.
А буква «А» — средь этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же, — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы 'К'
и к одинокой 'А' стремится прямо».
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.
И снова жертва на огне кричит:
Вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Дождь барабанит по ветвям, стучит,

как будто за оградой кто-то плачет
невидимый. «Эй, кто там?» — Всё молчит.

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». — «Сейчас».
«Идем, не стой». Долдонит дождь о крышу.
«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрей. Идем» .— «Сейчас». — «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру 8.
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру 8 — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,

в прожекторе охвачен мертвым сном:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрестанно. Всё блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по жолобу свергаясь вниз, свистит.
Намокшие углы дома возносят.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть всё к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в окне напротив.
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный вал щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт:
всё это — только море, только море.
И всё ж она стремит свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В нем нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.

Засов гремит и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни).
И всё-таки она горит, горит.
Но пожирает нечто, больше жизни.

Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит — горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте
сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что модно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.

ШЕСТВИЕ

ПОЭМА

Часть первая

Пора давно за всё благодарить,
за всё, что невозможно подарить
когда-нибудь, кому-нибудь из вас
и улыбнуться, словно в первый раз,
в твоих дверях, ушедшая любовь,
но невозможно улыбнуться вновь.

Прощай, прощай — шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,
подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
и в подворотнях гасятся огни.
Прощай, любовь, когда-нибудь звони.

Так оглянись когда-нибудь назад.
Стоят дома в прищуренных глазах,
и мимо них — уже который год —
по тротуарам шествие идет.

1

Вот *Арлекин* толкает свой возок,
и каплет пот на уличный песок,
и *Коломбина* машет из возка,
а вот *Скрипач,* в руках его тоска
и несколько монет, таков Скрипач,
а рядом с ним вышагивает *Плач,*
плач комнаты и улицы в пальто,
блестящих проносящихся авто,
плач всех людей, а рядом с ним *Поэт,*
давно не брит и кое-как одет,
и голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь,
свисают с подоконников цветы,
и там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет,
и кое-кто поглядывает вверх,
а кое-кто поругивает век,
как, например, *Усталый человек.*
И шум дождя, и вспышки сигарет,
шаги и шорох утренних газет,
и шелест непроглаженных штанин
(не плохо ведь в рейтузах, Арлекин?)
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.
Любите тех, кто прожил жизнь впотьмах
и не оставил по себе бумаг
и памяти, какой уж ни на есть,
не помышлял о перемене мест,
кто прожил жизнь, однако же не став
ни жертвой, ни участником забав,
в процессию по случаю попав.

Таков герой, в поэме он молчит,
не говорит, не шепчет, не кричит,
прислушиваясь к возгласам других,
не совершает действий никаких.
Я попытаюсь вас увлечь игрой:
никем не замечаемый порой,
запомните — присутствует герой.

2

Вот шествие по улице идет,
вот ковыляет *Мышкин*-идиот,
в накидке над панелью наклонясь.
Как поживаете теперь, любезный князь,
уже сентябрь, и новая зима
еще не одного сведет с ума,
ах, милый, успокойтесь, наконец.
Вон позади вышагивает *Лжец*,
посажена изящно голова,
лежат во рту великие слова,
а рядом с ним окончивший поход
небезызвестный рыцарь *Донкихот*
беседует с *Торговцем* о сукне
и о судьбе. Ах, по моей вине
вам предстает ужасная толпа,
рябит в глазах, затея так глупа,
но всё не зря, вот книжка на столе,
весь разговорчик о добре и зле
свести к себе не самый тяжкий труд,
наверняка тебя не заберут,
поставь на стол в стакан букетик зла,
найди в толпе фигуру короля,
забытых королей на свете тьма.
Сейчас сентябрь — потом придет зима.

Процессия по улице идет,
и дождь среди домов угрюмо льет,
вот человек, Бог знает чем согрет,
вот человек — за пару сигарет
он всем раскроет честности секрет,
кто хочет, тот послушает рассказ,
Честняга — так зовут его у нас.
Представить вам осмеливаюсь я
принц-*Гамлета,* любезные друзья —
у нас компания — всё принцы да князья.
Осмелюсь полагать, за триста лет,
принц Гамлет, вы придумали ответ
и вы его изложите, идет?
Процессия по улице бредет,
и кажется, что дождь уже ослаб,
маячит пестрота одежд и шляп,
принц Гамлет в землю устремляет взор,
Честняге на ухо бормочет вор,
но гонит вора Честности Пример
(Простите — *Вор,* представить не успел).

Вот шествие по улице идет,
и дождь уже совсем перестает,
не может же он литься целый век.
Заметьте: вот *Счастливый человек*
с обычною улыбкой на устах.
— Чему вы улыбнулись? — Просто так.
Любовники идут из-за угла,
белеют обнаженные тела,
в холодной мгле навеки обнялись,
и губы побледневшие слились.
Всё та же ночь у них в глазах пустых,
навеки обнялись, навек застыв,
в холодной мгле белеют их тела,

прошла ли жизнь или любовь прошла,
стекает вниз вода и белый свет
с любовников, которых больше нет.
Ступай, ступай, печальное перо,
куда бы ты меня ни привело,
болтливое худое ремесло,
в любой воде плещи, мое весло.
Так зарисуем пару новых морд:
вот *Крысолов* из Гаммельна и *Чорт,*
опять в плаще и чуточку рогат,
но, как всегда, на выдумки богат.

3

Достаточно. Теперь остановлюсь,
такой сумбур, что я не удивлюсь,
найдя свои стихи среди газет,
отправленных читателем в клозет,
самих читателей, объятых сном.

Поговорим о чем-нибудь ином.
Как бесконечно шествие людей,
как заунывно пение дождей
среди домов, а человек озяб,
маячит пестрота одежд и шляп.
И тени их идут за ними вслед,
и шум шагов и шорох сигарет,
и дождь всё льется, льется без конца
на Крысолова, Принца и Лжеца,
на Короля, на Вора и на Плач,
и прячет скрипку под пальто Скрипач,
и на Честнягу Чорт накинул плащ.
Усталый человек закрыл глаза,

и брызги с Дон-кихотова таза
летят на Арлекина, Арлекин
Торговцу кофту протянул — накинь.
Счастливец поднимает черный зонт,
Поэт потухший поднимает взор
и воротник. Князь Мышкин-идиот
склонился над панелью: кашель бьет,
процессия по улице идет,
и дождь, чуть прекратившийся на миг,
стекает вниз с любовников нагих.

Вот так всегда, когда ни оглянись,
проходит за спиной толпою жизнь,
неведомая, странная подчас,
где смерть приходит, словно в первый раз,
и где никто, никто не знает нас.
Прислушайся — ты слышишь ровный шум,
быть может, это гул тяжелых дум,
а может — гул обычных новостей,
а может быть, печальный хор страстей.

4. РОМАНС АРЛЕКИНА

По всей земле балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.

За веком век, за веком век
ложится в землю любой человек,
несчастлив и счастлив, зол и влюблен
лежит под землей не один миллион.

Жалей себя — пожалей себя,
одни говорят: умирай за них,
иногда судьба, иногда стрельба,
иногда по любви, иногда из-за книг.

Ах, будь и к себе и к другим не плох,
может, тебя и помилует Бог,
однако, ты ввысь не особо стремись,
ведь смерть — это жизнь и жизнь — это жизнь

По темной земле балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит вверху.

5. РОМАНС КОЛОМБИНЫ

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
так мало говорит,
мой Арлекин чуть-чуть хитрец,
хотя простак на вид,
ах, Арлекину моему
успех и слава ни к чему,
одна любовь ему нужна,
и я его жена.

Он разрешит любой вопрос,
хотя на вид простак,
на самом деле — он не прост,
мой Арлекин — чудак,
увы, он сложный человек,
но главная беда,
что слишком часто смотрит вверх
в последние года.

А в небесах летят, летят,
летят во все концы,
а в небесах свистят, свистят
безумные птенцы,
и белый свет — железный свист
я вижу из окна,
ах, Боже мой, как много птиц,
а жизнь всего одна.

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
хотя простак на вид.
— Нам скоро всем придет конец —
вот так он говорит.
Мой Арлекин хитрец, простак,
привык к любым вещам,
он что-то ищет в небесах
и плачет по ночам.

Я Коломбина, я жена,
я езжу вслед за ним,
свеча в фургоне зажжена,
нам хорошо одним,
в вечернем небе высоко
птенцы, и я смотрю,
но что-то в этом от того,
чего я не люблю...

Проходят дни, проходят дни
вдоль городов и сел,
мелькают новые огни
и музыка и сор,
и в этих селах, городках
я коврик выношу,
и муж мой ходит на руках,
и я опять пляшу.

На всей земле, на всей земле
не так уж много мест,
вот Петроград шумит во мгле,
в который раз мы здесь,
он Арлекина моего
в свою уводит мглу,
но что-то в этом от того,
чего я не люблю.

Сожми виски, сожми виски,
сотри огонь с лица,
Да, что-то в этом от тоски,
которой нет конца,
мы в этом мире на столе
совсем чуть-чуть берем,
мы едем, едем по земле,
покуда не умрем.

6. РОМАНС ПОЭТА

Как нравится тебе моя любовь,
печаль моя с цветами в стороне,
как нравится оказываться вновь
с любовью на войне, как на войне?

Как нравится писать мне об одном,
входить в свой дом, как славно одному,
как нравится мне громко плакать днем,
кричать по телефону твоему:

— Как нравится тебе моя любовь,
как в сторону я снова отхожу,
как нравятся печаль моя и боль
всех дней моих, покуда я дышу?

Так что еще, так что мне целовать,
как одному на свете танцевать,
как хорошо плясать тебе уже,
покуда слезы плещутся в душе.

Всё мальчиком по жизни, всё юнцом,
с разбитым жизнерадостным лицом
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись «никуда».

И жизнь, как смерть, случайна и легка,
так выбери одно наверняка,
так выбери, с чем жизнь тебе сравнить,
так выбери, где голову склонить.

Всё мальчиком по жизни, о любовь
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души.

7. КОММЕНТАРИЙ

Вот наш поэт, еще не слишком стар,
он говорит неправду, он устал
от улочек ночных, их адресов,
пугающих предутренних часов,
от пороха, дождя о диабаз,
от редких, но недружелюбных глаз,
от рева проносящихся машин,
от силуэтов горестных мужчин,
здесь, в сумраке, от невеселых слов,
от нелюбви, от беспокойных снов,
Бог знает от чего, и от себя,

он говорит: судьба моя, судьба
брести всю жизнь по улицам другим
куда-нибудь к друзьям недорогим,
а может быть домой — сквозь новый дождь
и ощущать реку, стекло и дрожь
худой листвы, идти, идти назад,
знакомый и обшарпанный фасад,
вот здесь опять под вечер оживать
и с новой жизнью жизнь свою сшивать.

И все вы таковы, слова, стихи,
вы бродите средь нас, как чужаки,
но в то же время близкие друзья,
любить нельзя и умирать нельзя,
но что-нибудь останется от вас, —
хотя б любовь, хотя б в последний раз,
а может быть, обыденная грусть,
а может быть, одни названья чувств.

Вперед, друзья. Вперед.
Поговорим о перемене мест,
поговорим о нравах тех округ,
где нету нас, но побывал наш друг,
печальный парень, рыцарь, доброхот,
известный вам идальго Дон-Кихот.

8. РОМАНС ДОН-КИХОТА

Копье мое, копье мое, копье,
оружие, имущество мое,
могущество мое таится в нем,
я странствую попрежнему с копьем,
как хорошо сегодня нам вдвоем.

О чем же я? Ах, эти города,
по переулкам грязная вода,
там ничего особого, о да,
немало богачей встречаю я,
но нет ни у кого из них копья.

Копье мое, копье мое, копье,
имущество, могущество мое,
мы странствуем попрежнему вдвоем,
когда-нибудь кого-нибудь убьем,
я странствую, я странствую с копьем.

Что города с бутылками вина,
к ним близится великая война,
безликая беда — и чья вина,
что городам так славно повезло,
как тень людей, неуязвимо зло!

Так что же ты теперь, мое копье,
имущество мое, дитя мое,
неужто я гляжу в последний раз,
кончается мой маленький рассказ,
греми на голове, мой медный таз!

Отныне одному из нас конец,
прощай, оруженосец и глупец!
Прощайте все, я больше не могу,
блести, мой таз, как ангельский венец,
по улице с несчастьями бегу.

9. КОММЕНТАРИЙ

Смешной романс. Да, все мы таковы,
страдальцы торопливые, увы,
ведь мужество смешно, забавен страх,

легко теперь остаться в дураках,
пойди пойми, над чем смеется век.
О, как тебе неловко, человек.

Так где-то на рассвете в сентябре
бредешь в громадном проходном дворе,
чуть моросит за чугуном ворот,
сухой рукой ты вытираешь рот
и вот выходишь на пустой проспект,
и вдоль витрин и вымокших газет,
вдоль замерших предутренних теней.

10. БАЛЛАДА И РОМАНС ЛЖЕЦА

Не новость ложь и искренность не новость,
попробуйте послушать эту повесть
о горестной истории Лжеца —
балладу без счастливого конца.

Баллада

Не в новость ложь и искренность не в новость,
какую маску надевает совесть
на старый лик, в каком она наряде
появится сегодня в маскараде,
Бог ведает, послушайте балладу,
но разделите нежность и браваду,
реальные событья — с чудесами,
всё это вы проделаете сами.
Придется покорпеть с моим рассказом,
ваш разум будет заходить за разум,

что — в общем — для меня одно и то же.
Потрудитесь. Но истина дороже.

Я шел по переулку
как ножницы, шаги
вышагиваю я
средь бела дня

по проспекту,
как по бумаге,
шагает *Некто*
наоборот во мраке.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

И новая весна меня ловила
и в освещенных улицах давила.

И новая весна уже лежала,
любовника ногами окружала
и шарила белесыми руками
и взмахивала новыми кругами.

Благословен приятель, победивший,
благословен удачливый мужчина,
благословен любовник, придавивший
ногой — весну, соперника — машиной.

Лови, лови, лови меня на слове,
что в улице средь солнца и метели,
что во сто крат лежащий в луже крови
счастливее лежащего в постели.

Слова Лжеца — вы скажете. Ну, что же!
Я щеголяю выдумкой и ложью,
лжецу всегда несчастия дороже,
они на правду более похожи.

Р о м а н с

Актер изображает жизнь и смерть,
натягивает бороду, парик.
— Попробуйте однажды умереть —
знакомый Лжец открыто говорит.

Он вечно продолжает свой рассказ,
вы — вечно — норовите улизнуть,
завидев вас, он хочет всякий раз
о вашей жизни что-нибудь сболтнуть.

Он вводит вас в какой-то странный мир,
он вскакивает с выдуманных мест,
кричит среди оставленных квартир:
— Ко мне, мои любимчики, я здесь.

Всё правильно — вы чувствуете страх,
всё правильно — вы прячете свой взор,
вы шепчете во след ему — дурак,
бормочете — всё глупости и вздор.

Друзья мои, я вам в лицо смотрю,
друзья мои, а вас колотит дрожь,
друзья мои, я правду говорю,
но дьявольски похожую на ложь!

11. КОММЕНТАРИЙ

Шаги и шорох утренних газет,
и шум дождя, и вспышки сигарет,
и утреннего света пелена,
пустые тени пасмурного дня,
и ложь и правда — что-нибудь возьми,
что движет невеселыми людьми.

Так чувствуешь всё чаще в сентябре,
что все мы приближаемся к поре
безмерной одинокости души,
когда дела всё так же хороши,
когда всё так же искренни слова
и помыслы, но прежние права,
которые ты выдумал в любви
к своим друзьям — зови их, не зови,
звони им — начинают увядать
и больше не отрадно увидать
в иной зиме такой знакомый след,
в знакомцах новых тот же вечный свет...
Ты облетаешь, дерево любви,
моей не задевая головы,
слетают листья к замершей земле,
к моим ногам, расставленным во мгле.
Ты всё шумишь, и шум твой не ослаб,
но вижу я в твоих ветвях октябрь,
всё кажется, кого-то ты зовешь,
но с новою весной не оживешь.
Да, многое дала тебе любовь,
теперь вовеки не получишь вновь
такой же свет, хоть досмерти ищи
другую жизнь, как новый хлеб души.

Да, о лжеце. Там современный слог
и легкий крик, но не возьму я в толк,
зачем он так несдержан на язык,
ведь он-то уже понял и привык
к тому — хоть это дьявольски смешно —
что ложь и правда всё-таки одно.
Правдивые и лживые слова
одна изобретает голова,
одни уста способны их сказать,

чему же предпочтенье оказать?
Как мало смысла в искренних словах,
цените ложь за равенство в правах
с правдивостью, за минимум возни,
а искренность — за привкус новизны.
Всего не понимая до конца,
я целиком на стороне лжеца.

12

Мое повествование вперед.
Вот шествие по улице идет,
и кто-то в переулках отстает,
и дождь над головами льет и льет.

Какая беспредельная тоска,
стирая струйки с влажного виска,
взглянуть вперед среди обвисших шляп
и увидать разверзшуюся хлябь
дневных небес и то же впереди.
Не всё ль равно, куда, ступай, иди,
прижмись, прижмись к соседу своему,
всё хуже и всё лучше потому
в такую же погоду одному.
Так наступает иногда предел
любым страстям и думаешь — удел
единственный, а всё-таки не твой,
— вот так брести с печальною толпой
и лужу обходить у фонаря
и вдруг понять, что столько прожил зря,
что больше никогда не наверстать,
и где-то от процессии отстать.
И, как всегда, твой утомленный ум
задержит исполненье новых дум,

когда б ни оказался ты в толпе,
я всё равно не удивлюсь тебе.

Пусть говорит *Усталый человек.*
Чего мне ждать от этаких калек,
опять пойдут неловкие стихи,
чуть-чуть литературщины, тоски.
Когда-нибудь коснешься тех же мук,
и городских элегий новый звук
опять взлетит. Ну, вот и цель, и хлеб
— к своей судьбе примеривать их цепь,
к своим шагам — и поперек, и вдоль
у всех у них одна и та же боль.

13. ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ

(РОМАНС УСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА)

Осенний сумрак листья шевелит
и новыми газетами белеет,
и цинковыми урнами сереет,
и облаком над улочкой парит,
и на посту троллейбус тарахтит,
вдали река прерывисто светлеет,
и аленький комок в тебе болеет
и маленькими залпами палит.

И снова наступает забытье,
и льется свет от лампы до бумаги,
глядят в окно на странное житье
пугающие уличные знаки.
Комком бумажным катится твой век
вдоль подворотен, вдаль по диабазу,

и в переулках пропадает сразу.
А ты смотри, ты всё смотри наверх.
Хоть что-нибудь увидишь в небесах,
за новыми заметишь облаками.
Как страшно обнаружить на часах
всю жизнь свою с разжатыми руками
и вот понять — она, как забытье,
что не прожив ее четвертой части,
нежданно оказался ты во власти
и вовсе отказаться от нее.

14. КОММЕНТАРИЙ

Читатель мой, куда ты запропал?
Ты пару монологов переспал,
теперь ты посвежел, сидишь, остришь,
а вечером за «преф» или за бридж
от нового романса улизнешь,
конечно, если раньше не заснешь.
Так, видимо, угоднее судьбе.
О чем же я горюю? О себе?
Пожалуй, нет. Привычно говорю.
Ведь я и сам не многое дарю,
привычно хлопочу: читатель где?
И, кажется, читаю в пустоте.

Горюй, горюй, попробуем сберечь
всех персонажей сбивчивую речь.
Что легче, чем сулить и обещать,
чем автора с героями смешать,
чем, вздрагивая, хмыкая, сопя,
в других искать и находить себя.
Горюй, горюй. Сквозь наши времена
плывут и проползают имена

других людей, которых нам не знать,
которым суждено нас обогнать,
хотя бы потому, что и для нас
трудней любить всё больше каждый раз.
Итак, за сценой нарастает *джаз,*
и красные софиты в три луча
выносят к рампе песню Скрипача.

15. РОМАНС СКРИПАЧА

Тогда, когда любовей с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.

Купи за эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон?)
Эх, ручку патефона поцелуй.

Па-а-слушайте совета скрипача,
как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча.
Живите только плача и крича!

На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре.

Проделано на розовой груди,
и только *патефоны* впереди,
и только струны, струны — провода,
и только в горле красная вода.

16. КОММЕНТАРИЙ

Он отнимает скрипку от плеча.
Друзья, благодарите скрипача.
Так завернем в бумажку пятаки
и — в форточку, и взмах его руки
на дне двора беспомощно мелькнет,
он вытрет пот и приоткроет рот
и новые монеты подберет.

Вот вспоминай года после войны,
по всем дворам скитаются они,
и музыка ползет вдоль темных стен
то дважды в день, а то и трижды в день,
свистят, свистят весь день смычки калек,
как будто наступает новый век,
сплошное пенье, скрипки, кутерьма,
и струнами опутаны дома,
и все смычки военные свистят,
и пятаки по воздуху летят.

Как учит нас столетье выбирать
тот возраст, где удачней умирать,
где целый дом роняет из окна
тот возраст, где кончается война,
тот возраст, где ты шествовал меж пуль.

И голову просовываешь в нуль,
просовываешь новую тоску
в нуль с хвостиком, а хвостик — к потолку.

Но где они, куда они ушли
и где твои слова их не нашли?
Ведь это всё звучало не вчера,

и, слыша только скрипки со двора,
сквозь эти дни всё рушится вода.
К каким делам мы перешли тогда?

Была ли это правда или ложь,
теперь наверняка не разберешь,
но кто-то был правдив, а кто-то лжив,
но кто-то застрелился, кто-то жив,
а кто играет до сих пор в кино,
но остальные умерли давно.
Но был другой — таким и нужно быть —
кто ухитрился обо всем забыть,
своей игрой столовые пленяв.

Живи, живи. Мы встретимся на-днях.
Живи в послевоенных городах,
играй в столовых, вечером в садах,
играй, играй провинциальный вальс
и мальчикам подмигивай — для вас.
Твой день пройдет, мелькнет, как легкий тур,
среди смычков, огней, клавиатур,
провинциальный клен прошелестит,
и женщина знакомая простит,
и Бог простит бездумный краткий век
военных и заслуженных калек,
и ты уйдешь, не задолжав за хлев,
но искус у окна преодолев.

* * *

И продолжать осмеливаюсь я.
Вперед, моя громоздкая ладья,
читатель мой, медлительность прости:
мне одному приходится грести.

Вот Арлекин в проулок повернул,
а Лжец Поэту ловко подмигнул
и, за руку схватив, повлек в проход,
за ними увязался Дон-Кихот,
и вот они уже у входа в бар.
Усталый человек на тротуар
бессильно опустился и заснул.
А дождь всё лил, и разносился гул
дневных забот, Скрипач висел в петле.

А мы поговорим о Короле.

17. БАЛЛАДА И РОМАНС КОРОЛЯ

Баллада

Жил-был король, жил-был король,
он храбрый был, как лев,
король без королев.

Он кроме хлеба ничего
не ел, не пил вина,
одна отрада у него
была — война, война.

И день и ночь в седле, в седле,
и день и ночь с мечом
он мчался, мчался по земле,
и кровь лилась ручьем
за ним, за ним, а впереди
рассветный ореол,
и на закованной груди
чуть-чуть мерцал орел.

Летели дни, неслись года,
он не смыкал очей,
о, что гнало его туда,
где вечный лязг мечей,
о, что гнало его в поход,
вперед, как лошадь — плеть,
о, что гнало его вперед
искать огонь и смерть,
и сеять гибель каждый раз,
топтать чужой посев!

То было что-то выше нас,
то было выше всех.
Ответь, ответь, найди ответ,
тотчас его забудь,
ответь, ответь, найди ответ,
но сам таким не будь.
Он пред врагами честь свою
и шпагу не сложил,
он жизнь свою прожил в бою,
он жизнь свою прожил.

Гони коней, гони коней,
богатство, смерть и власть,
но что на свете есть сильней
но что сильней, чем страсть?
Враги поймут, глупцы простят,
а кто заучит роль, —
— тот страстотерпец, тот солдат,
солдат, мертвец, король.

Простись, простись, простимся с ним,
простимся, чья вина,
что тишь да гладь нужна одним,
другим нужна — война,

и дробь копыт и жизни дробь,
походные костры,
одним — удар земли о гроб,
другим — кларнет зари.

Романс

Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так всё ж без вех,
лежащих беззлобно, пусты уста,
бес песенки надгробной, без креста.

— Я то уж наверно ею не храним,
кто-нибудь манерно плачет по ним,
плачет, поминает, земля в горсти,
меня проклинает, Господь, прости.

Нет мне изгнанья ни в рай, ни в ад,
долгое дознанье, кто виноват,
дело-то простое: гора костей,
Господи, не стоит судить людей.

Ежели ты выжил — садись на коня,
что-то было выше, выше меня,
я-то проезжаю вперед к огню,
я продолжаю свою войну.

Я-то проезжаю — в конце одно,
я-то продолжаю — не всё ли равно,
всё-то на свете в говне, в огне,
саксофоны смерти поют во мне.

Радость или злобу сотри с лица,
орлик, мой орлик, крылья на груди,
Жизни и Смерти нет конца,
где-нибудь на свете лети, лети.

18. КОММЕНТАРИЙ

Как нравится романс его тебе,
гадай, как оказался он в толпе,
но только слишком в дебри не залезь,
и в самом деле, что он делал здесь,
среди дождя, гудков автомашин,
кто может быть здесь более чужим
среди обвисших канотье, манжет
и старых пузырящихся газет,
чем вылезший на монотонный фон
несчастливый смятенный солдафон?

Кошмар столетья — ядерный грибок.
Но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде,
иного ничего не бравши в рот,
мы умудрились продолжать свой род,
твердили генералов имена,
и модно хаки в наши времена;
всегда и терпеливы и скромны
мы жили от войны и до войны,
от маленькой войны — и до большой,
всегда в крови — в своей или чужой.

Не привыкать. Вот взрыв издалека.
Еще планета слишком велика,
и нелегко всё то, что нам грозит,
не только осознать — вообразить.

Но оборву. Я далеко залез.
Политика. Какой-то темный лес,
и жизнь и смерть, и скука до небес.

Что далее? А далее зима.
Пока пишу, остывшие дома
на кухнях заворачивают кран,
прокладывают вату между рам,
теперь ты домосед и звездочет,
октябрьский воздух в форточки течет,
к зиме, к зиме всё движется в умах,
и я гляжу, как за церковным садом
железо крыш на выцветших домах
волнуется, готовясь к снегопадам.

Читатель мой, сентябрь миновал,
и я всё больше чувствую провал
меж временем, что движется бегом,
меж временем и собственным стихом.
Читатель мой, ты так нетерпелив,
но скоро мы устроим перерыв,
и ты опять приляжешь на кровать,
а может быть, пойдешь потанцовать.
Читатель мой, любитель перемен,
ты слишком много требуешь взамен
поспешного вниманья своего.
И мне не остается ничего,
как выдумать какой-то новый ход,
чтоб избежать обилия невзгод,
полна которых косвенная речь:
всё для того, чтобы тебя увлечь.
Что далее — известная игра,
я продолжаю. Начали. Пора.
Нравоучений целая гора
из детективной песенки Вора.

19. РОМАНС ВОРА

Оттуда взять, отсюда взять,
куда потом сложить?
Рукою в глаз, коленом в зад,
и так всю жизнь прожить.

И день бежит, и дождь идет,
во мгле летит авто.
И кто-то жизнь у нас крадет,
но неизвестно кто.

Держи, лови, вперед, назад,
Подонок, сука, тать!
Оттуда взять, отсюда взять,
кому потом продать?

Звонки, гудки, свистки, дела,
в конце всего погост.
И смерть пришла, и жизнь прошла,
как будто псу под хвост.

Свистеть щеглом и сыто жить,
а также лезть в ярмо,
потом и то, и то сложить
и получить — дерьмо.

И льется дождь, и град летит,
везде огни, вода,
но чей-то взгляд следит, следит
за мной всегда, всегда.

Влезай, влетай в окно, птенец,
вдыхай амбре дерьма,
стрельба и смерть один конец,
а на худой тюрьма.

И жизнь и смерть в одних часах,
о странное родство!
Всевышний сыщик в небесах
и Чье-то *воровство*.

Тебе меня не взять, не взять,
не вдеть кольца в ноздрю!
Рукою в глаз, коленом в зад
и головой — в петлю!

20. КОММЕНТАРИЙ

Поэты утомительно поют,
и воры нам загадки задают,
куда девался прежний герметизм,
на что теперь похожей стала жизнь,
сплошной бордель.
Но мы проявим такт:
объявим-ка обещанный антракт.

Танцуйте все и выбирайте дам,
осмеливаюсь я напомнить вам:
не любят дамы скучного лица.

Теперь уж недалеко до конца.

(Уходит).

(Десятиминутный джазовый проигрыш).

Конец первой части.

Часть вторая

Уже дома пустеют до зари,
листва — внизу, и только ветер дует,
уже октябрь, читатели мои,
приходит время новых поцелуев.
Спешат, спешат над нами облака
куда-то вдаль, к затихшей непогоде.
О чем писать, об этом ли уходе?
И новый свет бежит издалека,
и нам не миновать его лучей
и, может быть, покажется скучней
мое повествование, чем прежде,
но, Боже мой, останемся в надежде,
что всё же нам удастся преуспеть:
вам — поумнеть, а мне — не поглупеть.

Я продолжаю. Начали. Вперед.

21

Вот шествие по улице идет.
Уж вечереет, город кроет тень,
всё тот же город, тот же год и день,
и тот же дождь и гул, и та же мгла,
и тот же тусклый свет из-за угла,
и улица всё та ж, и магазин.
И вот толпа гогочущих разинь...

А вечер зажигает фонари.
Студентики, фарцмены, тихари,
грузины, блядуны, инженера
и потаскушки — вечная пора,
вечерняя пора по городам,

полупарад ежевечерних дам,
воришки, алкоголики — крупа,
однообразна русская толпа.
О них еще продолжим разговор,
впоследствии мы назовем их *Хор*.

Бредет сомнамбулический отряд.
Самим себе о чем-то говорят
князь Мышкин, Плач, Честняга, Крысолов,
о чем-то говорят, не слышно слов,
а только шум, бредут, бредут, хрипя,
навеки погруженные в себя,
и над Счастливцем зонтик распростерт,
и приживается к Торговцу Чорт,
принц Гамлет руки сложит на груди,
любовники белеют позади.

Читатель мой, внимательней взгляни:
завесою дождя отделены
от нас с тобою десять человек,
забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь,
и в улицу шагни, накинув плащ,
и втягивая голову меж плеч,
ты попытайся разобрать их речь.

22. РОМАНС КНЯЗЯ МЫШКИНА

В Петербурге снег и непогода,
в Петербурге горестные мысли,
проживая больше год от года,
удивляться в Петербурге жизни.

Приезжать на родину в карете,
приезжать на родину в несчастьи,
приезжать на родину для смерти,
умирать на родине со страстью.

Умираешь — не, и Бог с тобою,
во гробу, как в колыбельке чистой,
привыкать на родине к любови,
привыкать на родине к убийству.

Боже мой, любимых, пережитых
уничтожить хочешь — уничтожишь,
подними мне руки для защиты,
если пощадить меня не можешь.

Если ты не хочешь. И не надо,
и в любви, испуганно ловимой,
поскользнись на родине и падай,
оказавшись во крови любимой.

Уезжать, бежать из Петербурга.
И всю жизнь летит до поворота,
до любви, до сна, до переулка
зимняя карета Идиота.

23. КОММЕНТАРИЙ

А се октябрь за окнами шумит,
и переулок за ночь перемыт
не раз, не два холодною водой,
и подворотни дышат пустотой.

Теперь всё позже гаснут фонари,
неясный свет октябрьской зари
не затопляет мерзлые предместья,
и всё ползет по фабрикам туман,
еще не прояснившимся умам
мерещатся последние известья
и, тарахтя и стеклами и жестью,
трамваи проезжают по домам.

(В такой-то час я продолжал рассказ.
Недоуменье непротертых глаз
и невниманье полусонных душ
и торопливость, как холодный душ,
сливались в леденящую струю
и рушились в мистерию мою).

Читатель мой, мы в октябре живем.
В твоем воображении живом
теперь легко представится тоска
несчастного российского князька.
Ведь в октябре несложней тосковать,
морозный воздух молча целовать,
листать мою поэму...
Боже мой,
что если ты прочтешь ее зимой
иль в августе воротишься домой
из южных путешествий, загорев,
и только во вступленьи надоев,
довольством и вниманием убит,
я буду брошен в угол и забыт,
и поразмыслю над своей судьбой,
читатель мой...
А, впрочем, чорт с тобой!
Прекрасным душам счастья не дано.
Счастливое рассветное вино,

давно кружить в их душах перестав,
мгновенно высыхает на устах.
И снова погружается во мрак
прекраснодушный идиот, дурак,
и дверь любви запорами гремит,
и в горле горечь тягостно шумит.
Так пей вино тоски и нелюбви
и смерть к себе испуганно зови,
чужие души робко теребя.

Но хватит комментариев с тебя.

Читатель мой, я надоел давно.
Но всё же посоветую одно:
когда придет октябрь — уходи,
по сторонам презрительно гляди,
кого угодно можешь целовать,
обманывать, губить и блядовать,
до омерзенья, до безумья пить.
Но в октябре не начинай любить.
(Я умудрен, как змей или отец).

Но перейдем к Честняге, наконец.

24. РОМАНС ДЛЯ ЧЕСТНЯГИ И ХОРА

Хор.

Здесь дождь и дым и улица,
туман и блеск огня.

Честняга.

Глупцы, придурки, умники,
послушайте меня,

как честностью прославиться,
живя в добре и зле,
что сделать, чтоб понравиться
на небе и земле.
Я знал четыре способа:
— Покуда не умрешь,
надеяться на Господа...

Хор.

Ха-ха, приятель, врешь!

Честняга.

Я слышу смех, иль кажется
мне, это жуткий смех.
Друзья, любите каждого,
друзья любите всех —
и дальнего, и близкого,
детей и стариков...

Хор.

Ха-ха, он выпил лишнего,
Он ищет дураков!

Честняга.

Я слышу смех. Наверное,
я слышу шум машин.
Друзья, вот средство верное,
вот идеал мужчин:
— Берите весла длинные,

топор, пилу, перо, —
и за добро творимое
получите добро.
Стучите в твердь лопатами,
марайте белый лист.
Воздастся и заплатится...

Хор.

Ха-ха, приятель, свист!
Ты нас считаешь дурнями,
считаешь за детей.

Честняга.

Я слышу смех. Я думаю,
что это смех людей.
И я скажу, что думаю,
пускай, в конце концов,
я не достану курева
у этих наглецов.
О, как они куражатся,
но я скажу им всем
четвертое и, кажется,
ненужное совсем,
четвертое (и лишнее),
души (и тела) лень.

— За ваши чувства высшие
цепляйтесь каждый день,
за ваши чувства сильные,
за горький кавардак
цепляйтесь крепче, милые!

Хор.

А ну, заткнись, мудак!
Чего ты добиваешься,
ты хлебало заткни,
чего ты дорываешься
над русскими людьми.
Земля и небо Господа,
но нам дано — одно.
Ты знал четыре способа,
но все они говно.
Но что-то проворонил ты,
чтоб сыто есть и пить,
ты должен постороннему
на горло наступить.
Прости, мы извиняемся,
но знал ли ты когда,
как запросто меняются
на перегной — года.
Взамен обеда сытного,
взамен «люблю-люблю» —
труда, но непосильного,
с любовью, — по рублю.
И нам дано от Господа
немногое успеть,
но ключ любого способа,
но главное — посметь!
Посметь заехать в рожу
и обмануть посметь —
и жизнь на жизнь похожа..

Честняга.

Но более — на смерть.

25. КОММЕНТАРИЙ

Предоставляю каждому судить,
кого здесь нужно просто посадить
на цепь и за решетку. Чудеса.
Не лучше ль будет отвести глаза?

И вновь увидеть золото аллей,
закат, который пламени алей,
и шум ветвей, и листья у виска,
и чей-то слабый взор издалека,
и за Невою — воздух голубой,
и голубое небо над собой.
И бьется сердце медленней в груди
и кажется — все беды позади,
и даже голоса их не слышны,
и посредине этой тишины
им не связать оборванную нить,
не выйти у тебя из-за спины,
чтоб жизнь и сад и осень — заслонить.

Стихи мои, как бедная листва.
К какой зиме торопятся слова,
но как листву — испуганно лови
вокруг слова из прожитой любви.
И прижимай ладони к голове
и по газонной согнутой траве
спеши назад — они бегут вослед,
но кажется, что впереди их нет.
Живи, живи под шум календаря,
о чем-то непрерывно говоря,
чтоб добежать до самого конца
и, отнимая руки от лица,
увидеть, что попал в знакомый сад,

и оглянуться в ужасе назад:
как велики страдания твои.
Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.

26

Средь шумных расставаний городских,
гудков авто и гулов заводских
и теплых магазинных площадей
опять встречать потерянных людей,
в какое-то мгновенье вспоминать
и всплескивать руками, догонять,
едва-ли не попав под колесо,
да, догонять, заглядывать в лицо,
и узнавать, и тут же целовать,
от радости на месте танцовать
и говорить о переменах дел:
«да-да, я замечаю, похудел»,
«да-да, пора заглядывать к врачу»,
и дружелюбно хлопать по плечу,
и, вдруг заметив время на часах
и телефон с ошибкой записав,
опять переминаться и спешить,
приятеля в объятьях придушить
и торопиться за трамваем вслед,
теряя человека на пять лет.

Так обойдется время и со мной.
Мы встретимся однажды на Сенной
и, пары предложений не сказав,
раздвинув рты и зубы показав,

расстанемся опять — не навсегда ль?
и по Садовой зашагает вдаль
мой грозный век, а я , как и всегда,
через канал, неведомо куда.

27

Вот шествие по улице идет
и нас с тобою за собой ведет,
да, нас с тобой, мой невеселый стих,
и всё понятней мне желанье их
по улице куда-нибудь плестись,
всё отставать и где-то разойтись
уже навек, чтоб затерялся след,
чтоб вроде бы их не было и нет.
И это не насмешка и не трюк,
но это проще, чем петля и крюк,
а цель одна — и в тот и в этот раз,
да, цель одна: пусть не тревожат нас.

Пусть не тревожат нас в осенний день,
нам нелегко: ведь мы и плоть, и тень
одновременно, вместе тень и свет,
считайте так, что нас на свете нет,
что вас толкнула тень, а не плечо.
А нам прожить хотя бы день еще,
мы не помеха, мы забьемся в щель.
А может быть — у них иная цель.

Перед тобою восемь человек,
забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь.
Вон, посмотри: проходит мимо — —

28. ПЛАЧ

В Петербурге сутолка и дрожь,
в переулках судорожный дождь,
вдоль реки по выбоинам скул
пробегает сумеречный гул.

Это плач по каждому из нас,
это город валится из глаз,
это пролетают у аллей
скомканные луны фонарей.

Это крик по собственной судьбе,
это плач и слезы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный гром колоколов.

Словно смерть и жизнь — по временам,
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица,
как деревья, песенки конца.

Погре-бальный белый пароход
с полюбовным венчиком из роз,
похо-ронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз.

Это стук по нынешним гробам.
Это самый новый барабан.
Это саксофоны за рекой.
Это общий крик — за упокой.

Ничего от смерти не убрать.
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лежа на спине
в освещенной вечером стране?

Оттого, что жизни нет конца,
оттого, что, сколько ни зови,
всё равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви.

29. КОММЕНТАРИЙ

Тоска, тоска. Хоть закричать в окно.
На улице становится темно,
и всё труднее лица различать,
и всё трудней фигуры замечать.
Не всё ль равно? И нарастает злость.
Перед тобой не шествие, а горсть
измученных и вымокших людей.
И различать их лица всё трудней.
Всё те же струйки около висков,
всё то же тарахтенье башмаков,
тоска ложится поперек лица.
Далеко ли, читатель, до конца?

Тоска, тоска. То тише, то быстрей
вдоль тысячи горящих фонарей,
дождевиков, накидок и пальто,
поблескивая, мечутся авто,
подъезды освещенные шумят,
как десять лет вперед или назад,
и залы театральные поют,
попрежнему, ища себе приют,
по улицам бездомные снуют.

А что бы ты здесь выбрал для себя?
По переулкам, истово трубя,
нестись в автомобиле или вдруг

в знакомый дом, где счастливый твой друг
в прихожей пальцем радостно грозит
за милый неожиданный визит,
а может, с торопливостью дыша,
на хоры подниматься не спеша,
а может быть, оплакивать меня,
по тем же переулкам семеня?

Но плакать о себе — какая ложь!
Как выберешь ты — так и проживешь.
Так научись минутой дорожить,
которую дано тебе прожить,
не успевая всё предусмотреть,
в которой можно даже умереть.
Так выбирай светящийся подъезд
или пластмассу театральных мест,
иль дом друзей, былое возлюбя.
Но одного не забывай — Себя.
Побольше думай, друг мой, о себе.
Оказываясь в гуще и в гурьбе,
скорее выбирайся и взгляни
хоть раз не изнутри — со стороны.

Окончен день. Но это для него,
да, для полугероя моего.
А здесь всё те же длятся чудеса,
здесь, как и прежде, время три часа,
а может быть, часы мои не лгут,
здесь вечность без пятнадцати минут.
Здесь время врет, а рядом Вечность бьет,
и льется дождь, и шествие идет,
куда-нибудь, попрежнему вперед,
и наш Торговец открывает рот.

30. РОМАНС ТОРГОВЦА

На свете можно всё разбить,
возможно всё создать,
на свете можно всё купить
и столько же продать.

Как просто ставить жизнь в актив,
в пассив поставив кровь,
купив большой презерватив,
любовь и нелюбовь.

Но как бы долго ни корпел,
но сколько б ни копил,
взгляни, как мало ты успел,
как мало ты купил!

Твой дом торговый прогорит,
ты выпрыгнешь в окно,
но Кто-то сверху говорит,
что это всё — равно.

Ах, если б Он не наезжал
по нескольку недель
в бордель, похожий на базар,
и в город — на бордель,

когда б Он здесь и не бывал,
но приходил во сны,
Когда б Господь не набивал
стране моей цены,

то кто бы взглядывал вперед,
а кто по сторонам,
смотрел бы счастливый народ
назад по временам,

и кто-то б думал обо мне,
и кто-нибудь звонил,
когда бы смерть пришла — в огне
меня бы схоронил.

И пепел по ветру, как пыль,
не ладанку на грудь,
как будто *не было,* — но был,
но сам таким не будь.

Прощай, мой пасынок — мой сын,
смотри, как я горю,
и взором взглядывай косым
на родину свою.

Над нами время промолчит,
пройдет, не говоря,
и чья-то слава закричит
немая, не моя.

В погонах века своего,
мой маленький простак,
вступай, мой пасынок, в него
с улыбкой на устах.

Вдыхая сперму и бензин
посередине дня,
входи в Великий магазин,
не вспоминай меня.

31. КОММЕНТАРИЙ

Увы, несчастливый пример
для тех, кто помнить и любить умел
свои несовершенные дела.
Но к нам идет жестокая пора,

идет пора безумного огня.
(О, стилизованный галоп коня
и пена по блестящим стременам,
и всадник Апокалипсиса — к нам).
Идет пора... Становится темней...
Взгляни на полуплоть полутеней,
взгляни на шевелящиеся рты,
о если б хоть таким остался ты.
Ведь, может быть, они — сквозь сотни лет
каких-то полных жизней полусвет.
Огонь. Элементарная стрельба.
Какая элегантная судьба:
лицо на фоне общего гриба,
и небольшая плата, наконец,
за современный атомный венец
и за прелестный водородный гром.
О, человек — наедине со злом.
Вы редко были честными, друзья.
Ни сожалеть, ни плакать здесь нельзя,
отходную столетию не спеть,
хотя бы потому, что не успеть,
хоть потому, что вот, мы говорим,
а с одного конца уже горим,
и, может статься — завтра этот День.

И кто прочтет мою поэму? Тень?

Огонь, огонь. Столетие — в ружье!
Но — плоть о плоть и влажное белье...
Огонь, огонь. Ты чувствуешь испуг...
...Но темноты и юной плоти стук
в ночи, как современный барабан
перед атакой. И выходит Пан
и не свирель, а флейту достает,
и лес полуразрушенный поет,

растут грибы и плещутся ручьи
сквозь сонные зачатия в ночи.

Играй, играй тревогу и печаль,
кого-нибудь оказывалось жаль,
но было поздно — видимо, судьба,
и флейта, как архангела труба,
на Страшный Суд меня не позовет.

Вот шествие по улице идет,
и остается пятеро уже.
Так что там у Счастливца на душе?

32. РОМАНС СЧАСТЛИВЦА

Ни родины, ни дома, ни изгнанья,
забвенья — нет, и нет воспоминанья
и боли, вызывающей усталость,
из прожитой любови не осталось.

Как быстро возвращаются обратно
встревоженные чувства, и отрадно,
что снова можно радостно и нервно
знакомцам улыбаться ежедневно.

Прекрасная, изысканная мука:
смотреть в глаза возлюбленного друга
на освещенной вечером отчизне
и удивляться продолженью жизни.

Я с каждым днем всё чаще замечаю,
что всё, что я обратно возвращаю,
то в августе, то летом, то весною, —
какой-то странной блещет новизною.

Но по зиме и по земле холодной
пустым, самоуверенным, свободным
куда как легче, как невозмутимей
искать следы любви невозвратимой.

А находить полузнакомых женщин,
дома, тела и голоса без трещин,
себя — бегущим по снегу спортсменом,
всегда себя таким же неизменным.

Какое удивительное счастье
узнать, что ты над прожитым не властен,
что то и называется судьбою,
что где-то протянулось за тобою:

моря и горы — те, что переехал,
твои друзья, которых ты оставил,
и этот день посередине века,
который твою молодость состарил —

— всё потому, что, чувствуя поспешность,
с которой смерть приходит временами,
фальшивая и искренняя нежность
кричит, как жизнь, бегущая за нами.

33. КОММЕНТАРИЙ

Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнуто и немо,
и ровное дыхание стиха,

нежданно посетившее поэму
в осенние недели, в октябре —
мне радостно их чувствовать и слышать,
и снова расставаться на заре,
когда светлеет облако над крышей
и посредине грязного двора
блестит вода, пролившаяся за ночь.
Люблю тебя, рассветная пора
и облаков стремительную рваность
над непокрытой влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где всё вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего,
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный Суд, суд сердца моего.

Я затянул, что дальше и нельзя.
Но скоро всё окончится, друзья.
Да, слишком долго длился мой рассказ,
часы не остановятся для вас.
Что ж, хорошо. И этому я рад.
Мои часы два месяца стоят,
и шествие по улице идет.

Толпа то убывает, то растет,
и, не переставая, дождик льет.
И жизнь шумит и зажигает свет,
и заболевших навещает смерть,
распахивая форточки квартир
и комнаты с багетами картин,
пюпитрами роялей, с тишиной,
где Дочь с Отцом, где бедный Муж с Женой
прощаются. И привыкаешь сам
считать по чувствам, а не по часам
бегущий день. И вот уже легко

понять, что до любви недалеко,
что, кажется, войны нам не достать,
до брошенных друзей — рукой подать.
Как мало чувств, как мало слез из глаз
меж прежних нас и современных нас.
Так чем же мы теперь разделены
с вчерашним днем? Лишь чувством новизны,
когда над прожитым поплачешь всласть,
над временем захватывая власть.

Октябрь, октябрь, и колотье в боку
и самое несносное, наверно,
вдруг умереть на левом берегу
реки, среди которой ежедневно
искал и находил кричащих птиц
и сызнова по набережным бледным
вдоль улочек и выцветших больниц
ты проносился, вздрагивал и медлил.
Октябрь, октябрь, пойти недалеко
и одинокость выдать за свободу,
октябрь, октябрь, на родине легко
и без любви прожить четыре года,
цепляться рукавом за каждый куст,
в пустом саду оказываться лишним
и это описанье правды чувств
опять считать занятием не высшим.

Всё холоднее в комнате моей,
всё реже слышно хлопанье дверей
в квартире, замирающей к обеду,
всё чаще письма сыплются соседу,
а у меня сквозь приступы тоски

всё реже телефонные звонки.
Теперь полгода жить при темноте,
ладони согревать на животе,
писать в обед, пока еще светло,
смотреть в заиндевевшее стекло
и, как ребенку, радоваться дням,
когда знакомцы приезжают к нам.
Настали дни, прозрачные, как свист
свирели или флейты. Мертвый лист
настойчиво желтеет меж стволов,
и с пересохших теннисных столов
на берегу среди финляндских дач
слетает век, как целлулойдный мяч.
Так в пригород и сызнова назад,
приятно возвращаться в Ленинград
из путешествий получасовых
среди кашне, платочков носовых,
среди газет, пальто и пиджаков,
приподнятых до глаз воротников
и с цинковым заливом в голове
пройти у освещенного кафе.

Закончим нашу басню в ноябре.
В осточертевшей, тягостной игре
не те заводки, выкрики не те.
Прощай-прощай, мое моралитэ
(и мысль моя — как белочка и круг).
Какого чорта в самом деле, друг!
Ведь не затем же, чтоб любитель книг
тебе вослед мигнул
и хохотнул, а кто-нибудь с тоской
сочувственно промолвил бы: «на кой».
Так что там о заливе — цвет воды
и по песку замерзшему следы,
рассохшиеся дачные столы,

вода, песок, сосновые стволы,
и ветер всё елозит по коре,
закончим нашу басню в ноябре,
кота любви подтягивай к мешку.

Любовников пропустим по снежку.

35-36. РОМАНСЫ ЛЮБОВНИКОВ

(1)

Нет действия томительней и хуже,
медлительней, чем бегство от любови,
я расскажу вам басню о *союзе,*
а время вы подставите любое.

Вот песенка о Еве и Адаме,
вот грезы простолюдина о фее,
вот мадригалы рыцаря о даме
и слезы современного Орфея.

По выпуклости-гладкости асфальта,
по сумраку, по свету Петрограда
гони меня — любовника, страдальца,
любителя, любимчика разлада.

Гони меня, мое повествованье,
подалее от рабства или власти,
куда-нибудь — с развалин упованья
на будущие искренние страсти.

Куда-нибудь — не ведаю — по свету,
немногое на свете выбирая
из горестей, но радостно по следу,
несчастие по следу посылая.

Как всадники безумные за мною,
как прожитого выстрел за спиною,
так зимняя погоня за любовью
окрашена оранжевою кровью.

Так что же нам! Растущее мерцанье,
о, Господи, как яростно и быстро.
Не всадника ночное восклицанье,
о, Господи, а *крик мотоциклиста.*

Как гонится за нами не по следу,
по возгласу, по выкрику, по визгу,
всё вертятся колесики по свету
и фарами выхватывают жизни.

Разгневанным и памятливым оком
оглянешься — и птицею воскреснешь
и обернешься вороном и волком
и ящеркой в развалинах исчезнешь.

И вдруг себя почувствуешь героем,
от страха и от радости присвистни,
как- будто домик в хаосе построил
по всем законам статики и жизни.

(2)

Бежать, бежать, через дома и реки
и всё кричать — мы вместе не навеки,
останься здесь и на плече повисни,
на миг вдвоем — посередине жизни.

И шум ветвей, как будто шорох платья,
и снег летит и тишина в квартире,
и горько мне теперь твое объятье,
соединенье в разобщенном мире.

Нет, нет, не плачь, ты всё равно уходишь,
когда-нибудь ты всё равно находишь
у петроградских тарахтящих ставней
цветов побольше у ограды давней.

Останься здесь, мне никуда не деться,
как будто кровь моя бежит из сердца,
а по твоим губам струятся слезы,
и нас не ждут, не ожидают розы.

И только жизнь меж нас легко проходит
и что-то вновь из наших душ уносит,
и шумный век дымит, как пароходик,
и навсегда твою любовь увозит.

Бежит река, и ты бежишь вдоль брега,
и быстро сердце устает от бега,
и снег кружит у петроградских ставень,
взмахни рукой, теперь ты всё оставил.

Нет, нет, не плачь, когда других находят,
пустой рассвет легко в глаза ударит,
нет, нет, не плачь о том, что жизнь проходит
и ничего тебе совсем не дарит.

Всего лишь жизнь. Ну, вот, отдай и это,
ты так страдал и так хотел ответа,
спокойно спи, здесь не разлюбят, не разбудят,
как хорошо, что ничего взамен не будет.

37. КОММЕНТАРИЙ

Любовник-оборотень, где же ты теперь,
куда опять распахиваешь дверь,
в какой парадной сызнова живешь,
в каком окошке вороном поешь?
Всё ерунда. Ты в комнате сидишь
с газетой, безучастный к остальному,
кто говорит, что вороном летишь
и серым волком по лесу ночному.
Всё ерунда. Ты, кажется, уснул,
ты в сердце все утраты переставил,
ты, кажется, страданья обманул,
послушному уму их предоставил.
И нет тебя как будто бы меж нас,
и бьют часы о том, что поздний час,
и радио спокойно говорит,
и в коридоре лампочка горит.
Но всякий раз, услышав ночью вой,
я пробуждаюсь в ужасе и страхе:
да, это ты вороной и совой
выкрикиваешь из дому во мраке.
О чем-нибудь, о чем-нибудь ином,
о чем-нибудь настойчиво и нервно,
о комнате с завешенным окном.

Но в комнате с незапертою дверью
рост крыльев в полуночные часы
и перьев шум, и некуда мне деться.
Любовник-оборотень, Господи, спаси,
спаси меня от страшного соседства.

Проходит в коридоре человек,
стучит когтями по паркету птица
и в коридоре выключает свет
и выросшим крылом ко мне стучится.

Явление безумия в ночи,
нежданность и испуганность простится,
не прячься, не юродствуй, не кричи,
никто теперь в тебе не загостится
подолее, чем нужно небесам,
подолее, чем в ночь под воскресенье,
и вскоре ты почувствуешь и сам,
что бедный ум не стоит опасенья,
что каждому дано не по уму,
да, скоро ты и в этом разберешься
и к бедному безумью своему
привыкнешь и с соседями сживешься.
Прекрасный собеседник у меня!
Вот птичий клюв и зубы человека,
вот, падая, садясь и семеня,
ко мне — полуптенец, полукалека
скачками приближается на миг
и шепчет мне и корчится от боли:
— Забавный птенчик в городе возник
из пепла убывающей любови,
ха-ха, а вот и я, и погляди,
потрогай перья на моей груди,
там раньше только волосы росли,
татуировки розами цвели,
а вот глаза — не бойся, идиот.

38

Вот шествие по улице идет.
Поэма приближается к концу,
читатель рад, я вижу по лицу.
А, наплевать! Я столько говорил,
прикидывался, умничал, острил
и добавлял искусственно огня.

Но кто-то пишет далее меня.

Вот пешеход по городу кружит,
и снегопад вдоль окон мельтешит,
читатель мой, как заболтались мы,
глядишь, и не заметили зимы.
Пустеть домам и улицам пустеть,
деревьям, не успевшим облететь,
теперь дрожать, чернеть на холоду,
страдать у светофоров на виду.

А мы уже торопимся, живем
при полумраке, полумрак жуем,
не отличая полночь от зари
и целый день не гаснут фонари.
И все, кто мог, уехали давно,
по вечерам мы ломимся в кино,
но выходя — мы снова в лапах вьюг,
и птицы унеслись на юг,
и голоса их в Грузии слышны.
Одни вороны северу верны,
и в парках, на бульварах городских
теперь мы часто замечаем их,
и снова отражается в глазах

их каркающий крестик в небесах,
и снежный город холоден и чист,
как флейты Крысолова свист.

Вот пешеход по городу кружит,
в простом плаще от холода дрожит,
зажав листок в комочек кулака,
он ищет адрес. Он издалека.
Пойдем за ним. Он не заметит нас,
он близорук, а нынче поздний час.
А если спросит — как-то объясним.
Друзья мои, отправимся за ним.

Кого он ищет в городе моем?
Теперь на снежной улочке вдвоем
остались мы. Быть может, подойти?
Но нет. Там постовые впереди.
Так кто же он, бездомный сей юнец?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Кто хочет, тот послушает конец!

Из Гаммельна до Питера гонец
в полвека не домчится, Боже мой,
в дороге обзаводится семьей
и умирает в полпути, друзья!

В Россию приезжают сыновья.

39 РОМАНС ДЛЯ КРЫСОЛОВА И ХОРА

Шум шагов,
шум шагов,
бой часов,

снег летит,
снег летит
на карниз.

Если слы-
шишь приглу-
шенный зов,

то спускай-
ся по ле-
стнице вниз.

Го-род спит,
город спит,
спят дворцы,

снег летит
вдоль ноч-ных
фо-нарей,

город спит,
город спит,
спят отцы,

обхватив
животы
матерей.

В этот час,
в этот час,
в этот миг

над карни-
зами кру-
жится снег,

В этот час
мы ухо-дим
от них,

в этот час
мы ухо-дим
навек.

Нас
ведет
Крысолов! Крысолов!
вдоль па-
нелей и цин-
ковых крыш,
и *звенит*
и летит
из углов
светлый хор возвратившихся Крыс!

Вечный мальчик,
молодчик,
юнец,

вечный мальчик,
любовник,
дружок,

оглянись,
обернись,
наконец,

как витает
над на-
ми снежок.

За спиной
полусвет,
полумрак,

только пят-
нышки, пят-
нышки глаз,

кто б ты ни
был — подлец
иль дурак,

всё равно
здесь не вспом-
нят о нас.

Так за флей-
той настой-
чивей мчись,

снег следы
заме-тет,
за-несет,

от безумья
забвеньем
лечись!

От забвенья
безумье
спасет.

Так спаси-
бо тебе,
Крысолов,

на чужби-
не отцы
голосят,

так спаси-
бо за слав-
ный улов,

никаких
возвращений
назад.

Как он вы-
глядит: брит
или лыс,

наплевать
на прическу
и вид.

Но *счастли-*
вое пе-
ние Крыс,
как всегда,
над Россией звенит!
Вот и жизнь, вот и жизнь
пронеслась,
Вот и город
заснежен и мглист.

Только пом-
нишь безум-
ную власть
и безум-
ный уве-
ренный свист.

Так запомни
лишь несколько
слов:

Нас ведет от зари до зари,
нас ведет Крысолов, Крысолов!
Нас ведет Крысолов.
Повтори.

40. РОМАНС ПРИНЦА ГАМЛЕТА

Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
Видит Бог,

но я б так быстро добежать не смог
и до безумья.
Ох, Гораций мой,
мне, кажется, пора домой.
Поля, дома, закат на волоске,
вот Дания моя при ветерке,
Офелия купается в реке.
Я — в Англию. Мне в Англии *не быть,*
кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно забыть ,
кого-то своевременно убить
и сразу — непременная — тюрьма,
и спятить своевременно с ума.
Вот Дания. А вот ее король.
Когда-нибудь и мне такая роль...
А, впрочем, нет...
Пойду-ка покурю.

Гораций мой, я в рифму говорю!

Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
В час безумья
мне кажется — еще нормален я,
когда давно Офелия моя
лепечет язычком небытия.
Так в час любови, в час безумья **вы,**
покинув освещенные дома,
не зная ни безумья, ни любви,
целуете и сходите с ума.

Мне кажется, что сбился мой берет.

Вот кладбище — прекрасный винегрет,
огурчики — налево и направо
еще внизу,
а сверху мы — приправа.

Не быть иль быть? Вопрос прямолинейный
мне задает мой бедный ум, и нервный
всё просится ответ: *не быть,* не быть,
кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно... Постой!
Не быть иль *быть!* Какой-то звук пустой.
Здесь всё, как захотелось небесам.
Я, впрочем, говорил об этом сам.
Гораций мой, я верил чудесам,
которые появятся извне.

Безумие — вот главное во мне.
Позор на скандинавский мир!

Далеко ль до конца, *Вильям Шекспир?*
Далеко ль до конца, милорд?
Какого чорта в самом деле...

41. ЧОРТ!

Новобранцы, новобранцы, новобранцы,
ожидается изысканная драка,
принимайте новоявленного братца,
короля и помазанника из мрака.

Вот я снова перед вами одинокий,
беспокойный и участливый уродец,
тот же самый черно-белый, длинноногий,
одинокий и рогатый полководец.

Перед веком, перед веком, перед Богом,
перед Господом, глупеющим под старость,
перед боем в этом городе убогом
помолитесь, чтобы что-нибудь осталось.

Всё, что брошено, оставлено, забыто,
всё, что «больше не воротится обратно»,
возвращается в беспомощную битву,
в удивительную битву *за утраты*.

Как фонарики, фонарики ручные,
словно лампочки на уличных витринах,
наши страсти, как страдания ночные
этой плоти — и пространства поединок.

Так прислушивайся к уличному вою,
возникающему сызнова из детства.
Это к мертвому торопится живое,
совершается *немыслимое бегство*.

Что-то рядом затевается на свете,
это снова раздвигаются кровати,
пробуждаются солдаты после смерти,
просыпаются любовники в объятьях.

И по-новой зачинаются младенцы,
и поют перед рассветом саксофоны,
и торопятся, торопятся одеться,
новобранцы, новобранцы, солдафоны.

Как вам нравится ваш новый полководец?
Как мне нравится построенный народец.
Как мне нравятся покойники и дети,
саксофоны и ударник на рассвете.

Потому, что в этом городе убогом,
где отправят нас на похороны века,
кроме стража перед Дьяволом и Богом
существует что-то выше человека.

42

Три месяца мне было что́ любить,
что́ помнить, что́ твердить, что́ торопить,
что́ забывать на время.
Ничего.
Теперь зима — и скоро Рождество,
и мы увидим новую толпу.
Давно пора благодарить судьбу
за зрелища, даруемые нам
не по часам, а иногда по дням,
а иногда — как мне — на месяца.

И вот теперь пишу слова конца.
Стучит машинка. Смолкший телефон
и я — мы слышим колокольный звон
на площади моей. Звонит собор,
из коридора долетает спор.
И я слова последние пишу,
ни у кого прощенья не прошу
за все дурноты. Головы склоня,
молчат герои. Хватит и с меня.

Стучит машинка. Вот и всё, дружок.
В окно летит ноябрьский снежок,
фонарь висячий на углу кадит,
вечерней службы колокол гудит,
шаги моих прохожих замело.
Стучит машинка. Шествие прошло.

Сентябрь-октябрь-ноябрь 1961.
Ленинград.

Стихи 1964 года

Настоящий сборник был уже набран и по большей части отпечатан, когда нами были получены от Польского Литературного Института (Institut Literacki) в Париже публикуемые ниже девять стихотворений Иосифа Бродского. Стихотворение «С грустью и нежностью», судя по его содержанию, написано Бродским в тюрьме — вероятно, между двумя слушаниями его дела (на это намекает строка «Так в феврале мы, рты раскрыв...»). Из других стихотворений два, печатаемые нами последними, несомненно написаны уже в архангельской ссылке (в одном из них упоминается судья Савельева). Это же может относиться и к некоторым другим, в полученных списках не датированным.

На эти девять стихотворений —

Copyright by
Institut Littéraire
91, Avenue de Poissy
Maisons-Laffitte (S.-et-O.), France

All rights reserved

* * *

Садовник в ватнике, как дрозд,
по лестнице на ветку влез,
тем самым перекинув мост
к пернатым от двуногих здесь.

Но, вместо щебетанья, вдруг,
в лопатках возбуждая дрожь,
раздался характерный звук:
звук трения ножа о нож.

Вот в этом-то у певчих птиц
с двуногими и весь разрыв
(не меньший, чем в строеньи лиц)
что ножницы, как клюв раскрыв,

на дереве в разгар зимы,
скрипим, а не поем как раз.
Не слишком ли отстали мы
от тех, кто «отстает от нас»?

Помножив краткость бытия
на гнездышки и забытье
при пеньи, полагаю я,
мы место уточним свое.

18.1.1964.

С ГРУСТЬЮ И С НЕЖНОСТЬЮ

А. Горбунову.

На ужин вновь была лапша, и ты,
Мицкевич, отодвинув миску,
сказал, что обойдешься без еды.
Поэтому и я без риску
медбрату показаться бунтарем,
последовал чуть позже за тобою
в уборную, где пробыл до отбоя.
«Февраль всегда идет за январем.
А дальше март». Обрывки разговора.
Сиянье кафеля, фарфора,
вода звенела хрусталем.

Мицкевич лег, в оранжевый волчок
уставив свой невидящий зрачок.
(А может — там судьба ему видна).
Бабанов в коридор медбрата вызвал.
Я замер возле темного окна,
и за спиною грохал телевизор.
«Смотри-ка, Горбунов, какой — там хвост».
«А глаз какой». «А видишь там нарост,
над плавником?» «Похоже на нарыв».
Так в феврале мы, рты раскрыв,
таращились в окно на звездных Рыб,
сдвигая лысоватые затылки,

в том месте, где мокрота на полу.
Где рыбу подают порой к столу,
но к рыбе не дают ножа и вилки.

1964.

К САДОВОЙ ОГРАДЕ

Снег в сумерках кружит, кружит.
Под лампочкой дворовой тлеет.
В развилке дерева лежит.
На ветке сломанной белеет.
Не то, чтобы бело-светло.
Но кажется (почти волнуя
ограду) у ствола нутро
появится, кору минуя.

По срубленной давно сосне
она ту правду изучает,
что неспособность к белизне
ее от сада отличает.
Что белый цвет — внутри него.
Но, чуть не трескаясь от стужи,
почти не чувствует того,
что снег покрыл ее снаружи.
Но всё-таки безжизнен вид.
Мертвеет озеро пустое.
Их только кашель оживит
своей подспудной краснотою.

ОКНА

Дом на отшибе сдерживает грязь,
растущую в пространстве одиноком,
с которым он поддерживает связь
посредством дыма и посредством окон.
Глядят шкафы на хлюпающий сад,
от страха створки мысленно сужают.
Три лампы настороженно висят.
Но стекла ничего не выражают.
Хоть, может быть, и это вещество
способно на сочувствие к предметам,
они совсем не зеркало того,
что чудится шкафам и табуретам.
И только с наступленьем темноты
они в какой-то мере сообщают
армаде наступающей воды,
что комнаты борьбы не прекращают;
что ей торжествовать причины нет,
хотя бы всё крыльцо обстали лужи;
что здесь, в дому, еще сверкает свет,
хотя темно, совсем темно снаружи...
— но не тогда, когда молчун, старик,
во сне он видит при погасшем свете
окрестный мир, который в этот миг
плывет в его опущенные веки.

* * *

Всё чуждо в доме новому жильцу,
Поспешный взгляд скользит по всем предметам,
чьи тени так пришельцу не к лицу,
что сами слишком мучаются этим.
Но дом не хочет больше пустовать.
И, как бы за нехваткой той отваги,
замок, не в состояньи узнавать,
один сопротивляется во мраке.
Да, сходства нет меж нынешним и тем,
кто внес сюда шкафы и стол и думал,
что больше не покинет этих стен,
но должен был уйти; ушел и умер.
Ничем уж их нельзя соединить:
чертой лица, характером, надломом.
Но между ними существует нить,
обычно именуемая домом.

* * *

Топилась печь. Огонь дрожал во тьме.
Древесные угли чуть-чуть искрились.
Но мысли о зиме, о всей зиме,
каким-то странным образом роились.
Какой печалью нужно обладать,
чтоб, вместо парка, что за три квартала,
пейзаж неясный долго вспоминать,
но знать, что больше нет его; не стало.
Да, понимать, что всё пришло к концу
тому назад едва ль не за два века,
— но мыслями блуждать в ночном лесу
и всё не слышать стука дровосека.
Стоят стволы, стоят кусты в ночи.
Вдали холмы лежат во тьме угрюмо.
Луна горит, как весь огонь в печи,
и жжет стволы. Но только нет в ней шума.

ОБОЗ

Скрип телег тем сильней,
чем больше вокруг теней.
Сильней, чем дальше они
от колючей стерни.
Из колеи в колею
дерут они глотку свою
тем громче, чем дальше луг,
чем гуще листва вокруг.

Вершина голой ольхи
и желтых берез верхи
видят, уняв озноб,
как смотрит связанный сноп
в чистый небесный свод.
Опять коряга, и вот
деревья слышат не птиц,
а скрип деревянных спиц
и громкую брань возниц.

1964.

Колесник умер, бондарь
уехал в Архангельск к жене,
и как бык, бушует январь
им вослед на гумне.
А спаситель бадей
стоит меж чужих людей
и слышит вокруг
только шуршание брюк.

Тут от взглядов косых
горяча, как укол —
сбивается русский язык,
бормоча в протокол.
А безвестный Гефест
глядит, как прошил окрест
снежную гладь канвой
вологодский конвой.

По выходе из тюрьмы,
он в деревне лесной,
в арьергарде зимы,
чинит бочки весной
и в овале бадьи
видит лицо судьи
Савельевой и тайком
в лоб стучит молотком.

1964.

ЗАГАДКА АНГЕЛУ

М. Б.

Мир одеял разрушен сном.
Но в чьем-то напряженном взоре
маячит в сумраке ночном
окном разрезанное море.
Висит в кустах аэростат,
Две лодки тонут в разговорах,
что туфли в комнате блестят,
но устрицам не давят створок.

Подушку обхватив, рука
сползает по столбам отвесным,
вторгаясь в эти облака
своим косноязычным жестом.
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.

Два моря с помощью стены,
при помощи неясной мысли,
здесь как-то так разделены,
что сети в темноте повисли
пустыми в этой глубине,
но всё же ожидают всплытья
от пущенной сквозь крест в окне,
связующей их обе, нити.

Звезда желтеет на волне,
маячат неподвижно лодки.
Лишь крест вращается в окне
подобием простой лебедки.
К поверхности из двух пустот
два невода ползут отвесно,
надеясь: крест перенесет
и опустит в другое место.

Так тихо, что не слышно слов,
что кажется окну пустому:
надежда на большой улов
сильней, чем неподвижность дома.
И вот уж в темноте ночной
окну с его сияньем лунным
две грядки кажутся волной,
а куст перед крыльцом — буруном.

Но дом недвижен, и забор
во тьму ныряет поплавками,
и воткнутый в крыльцо топор
один следит за топляками.
Часы строкочут. Вдалеке
ворчаньем заглушает катер,
как давит устрицы в песке
ногой бесплотный наблюдатель.

Два глаза источают крик.
Лишь веки, издавая шорох,
во мраке защищают их
собою наподобье створок.
Как долго эту боль топить,
захлестывать моторной речью,
чтоб дать ей оспой проступить
на теплой белизне предплечья.

Как долго? До утра? Едва ль.
И ветер паутину гонит,
из веток шевеля вуаль,
где глаз аэростата тонет.
Сеть выбрана, в кустах удод
свистком предупреждает кражу,
и молча замирает тот,
кто бродит в темноте по пляжу.

1964.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Поэт-«тунеядец» — Иосиф Бродский. Вступительная статья *Георгия Стукова* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Художник (Он верил в свой череп...) 19
Слава (Над утлой мглой столь кратких поколений...) 21
Стихи под эпиграфом (Каждый пред Богом наг...) 23
Рыбы зимой (Рыбы зимой живут...) 25
Петухи (Звезды еще не гасли...) 27
«И вечный бой...» 29
Гладиаторы (Простимся...) 31
Памятник Пушкину (И тишина...) 33
«Прощай...» 35
Песенка о Феде Добровольском (Желтый ветер манчжурский...) 36
Памяти Феди Добровольского (Мы продолжаем жить...) 37
Сонет (Переживи всех...) 39
Сонет к Глебу Горбовскому (Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы...) 40
Посвящение Глебу Горбовскому (Уходить из любви, в яркий солнечный день безвозвратно...) 41
Стихи о слепых музыкантах (Слепые блуждают ночью...) . . . 43
Памятник (Поставим памятник...) 45
«Зачем опять меняемся местами...» 47
«Теперь я уезжаю из Москвы...» 49
«Приходит время сожалений...» 51
«Затем, чтоб пустым разговорцем...» 53

Стр.

«Еврейское кладбище около Ленинграда...» 54
«Приходит март. Я сызнова служу...» 57
«Воротишься на родину. Ну что ж...» 58
Наступает весна (Пресловутая иголка в не менее достославном стоге...) 60
«Теперь всё чаще чувствую усталость...» 62
Стансы (Ни страны, ни погоста...) 63
Сад (О, как ты пуст и нем. В осенней полумгле...) 64
Пилигримы (Мимо ристалищ, капищ...) 66
«Да, мы не стали глуше или старше...» 68
Стансы городу (Да не будет дано...) 69
Воспоминания (Белое небо...) 70
Глаголы (Меня окружают молчаливые глаголы...) 72
Книга (Путешественник, наконец, обретает ночлег...) 74
Рождественский романс (Плывет в тоске необъяснимой...) . . . 76
Проплывают облака (Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение...) 78
«Вот я вновь посетил...» 80
«Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам» . . 85
Определение поэзии (Запоминать пейзажи...) 88
Романс (Ах, улыбнись, ах, улыбнись вослед, взмахни рукой...) . 90
Письмо к А. Д. (Всё равно ты не слышишь, всё равно не услышишь ни слова...) 92
«Был черный небосвод светлей тех ног...» 94
«Я обнял эти плечи и взглянул...» 96
Я как Улисс (Зима, зима, я еду по зиме...) 97
Три главы (Гл. 1: Когда-нибудь болтливый умник... Гл. 2: Апрель, сумятица и кротость... Гл. 3: Ничто не стоит сожалений...) . 99
«Мне говорят, что нужно уезжать...» 102
Два сонета (1. Великий Гектор стрелами убит... 2. Мы снова проживаем у залива...) 104
Диалог (— Там он лежит, на склоне...) 106
1. «Когда подойдет к изголовью...» 2. «Не жаждал являться до срока...» 108
Дорогому Д. Б. (Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе...) . 109

Стр.

1. «Под вечер он видит, застывши в дверях...» 2. «Пустая дорога под соснами спит...» 3. «Июльскою ночью в поселке темно...» 4. «Два всадника скачут в пространстве ночном...» . 110
Сонет (Я снова слышу голос твой тоскливый...) 113

ПОЭМЫ

Гость 117
Холмы 123
Большая элегия. Джону Донну 130
Исаак и Авраам 137
Шествие 156

СТИХИ 1964 ГОДА

«Садовник в ватнике, как дрозд...» 226
С грустью и с нежностью (На ужин вновь была лапша, и ты...) . 227
К садовой ограде (Снег в сумерках кружит, кружит...) 228
Окна (Дом на отшибе сдерживает грязь...) 229
«Всё чуждо в доме новому жильцу...» 230
«Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...» 231
Обоз (Скрип телег тем сильней...) 232
«Колесник умер, бондарь...» 233
Загадка ангелу (Мир одеял разрушен сном...) 234

Цена: $2.25